

ВЛАДИМИР ЛИЧУТИН

Проза Русского Севера



Груманланы

В страну мрака. Крещение огнём

Проза Русского Севера

Владимир Личутин

**Груманланы: В страну
мрака. Крещение огнём**

«ВЕЧЕ»

2026

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)

Личутин В. В.

Груманланы: В страну мрака. Крещение огнём / В. В. Личутин —
«ВЕЧЕ», 2026 — (Проза Русского Севера)

ISBN 978-5-4484-5801-9

Это продолжение повествования, начатого книгой «Груманланы. Венчание с океаном», второй том художественно-исторических записок о поморах-груманланах знаменитого русского писателя Владимира Личутина. Автор в свойственной ему манере сказителя не только описывает жизнь поморов-промысловиков, хождение по ледяным северным морям исследователей-первопроходцев, но и на основе архивных документов размышляет о бытии всего народа российского.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-4484-5801-9

© Личутин В. В., 2026
© ВЕЧЕ, 2026

Содержание

В страну мрака	6
Часть первая	6
1	6
2	9
3	12
4	18
5	35
6	43
7	55
Конец ознакомительного фрагмента.	59

**Владимир Личутин
Груманланы: В страну
мрака; Крещение огнём**

**Проза
Русского
Севера**

Серия «Проза Русского Севера»



© Личутин В.В., 2026

© ООО «Издательство «Вече», 2026

В страну мрака

Часть первая Путь к ледяной земле

1

Крепко, благодарно прижимали русского крестьянина, кто ещё помнил Христовы заветы; откусывая от края ржанинки, непременно поминал кормильца, хозяина земли Русской, дивуясь его нравственной крепости. Даже «сердитый» неуступчивый Салтыков-Щедрин помнил о мужике, подарившем жизнь, поклончиво вспоминал кормильца: «Трудно идет его работа, горек добытый кусок, но слова “В поте лица снискивай свой хлеб”, слова никогда ему не читанные, ни от кого не слышанные, по какому-то обидному насилию судьбы так естественно слились со всем его существом, что стали в нем плотью и кровью, стали исходною точкой, средством и целью всего его существования».

Хоть назидание и туманно, написано вразброд, с оттенком превосходства, вразумительный смысл, которому хочется возразить, двоится, куда-то обманчиво ускользает, но излита барином мысль в минуты сердечной смуты, разладицы с чиновным миром, и хотя особенно притягливо жалливой интонацией, но вместе с тем и поверхностно, не выказывает всей сложности крестьянской души, которую барин так и не смог понять; коли невозможно влиться в крестьянскую судьбу всей природою, то и приходится стоять осторонь, как незваный гость. Господни слова о «хлебе насущном» и не надо мужику читать и слышать, ибо они не приправа к жизни его, не назидание, которое надо толковать или носить на шее в ладонке, но само существо бытия, коренные «стулци» его, держащие нацию в самостоянии и в самые тяжкие, невыносимые времена, ибо он, «хрестьянин», оказывается, и был наместником Бога на земле, держателем Его воли: да, «хлеб насущный» есть средство существования, порою и породненный смысл его, но никак не цель, ибо при всей тягости быта русский крестьянин никогда (в отличие от благородного сиятельства) не забывал о Христе, ибо носил Бога в душе, даже во сне не разлучаясь с ним, вот и жило в мужичке неусыпное желание воли. При внешней кротости во взгляде и кажущемся смирении в копорюжнике неукротимо ворочались надежды не только о небесном сладком покое, но и о рае на земле. Два мысленных рая не вносили в душу пахаря никакой разладицы, но давали натуре той крепости, при которой никакие «дьяволи напуски» не страшны. Перемелем, перетрём черта в ступе.

Наезжий служивый и не догадывался, придирчиво примеряясь к облику помора, теребящего шапенку из собачьего меха, какие бури живут в мезенском походнике, вынужденном смирять норы, какие беспокойные чувства толкуются на сердце, навеянные древним церковным уставом, выработанным за века суровой жизни у Ледяного Скифского океана в досюльные времена, куда не может воткнуться и самый изощренный ум. Много пошатались по землям поморяне, много таинственных мест приклонили под московский стяг, и, казалось бы, можно приуспокоиться, погрузиться в тихую размеренную мещанскую жизнь, но рая-то не сыскали, того чуда, которое мерещит перед глазами, а в руки-то не дается. Вот и запели, освобождая душу от гнетей, слезящимися глазами всматриваясь с крутогорья Малых Бурунов в сторону Матки, где под Полярной звездой крохотной скорлупкою вздымается из Ледяного океана Соловецкая земля, «закладной камень» былого рая.

Человек на земле живет, как трава растет.
Слово человеческое яко цвет цветет.
Ввечеру человек во беседе сидит.
А поутру человек во гробу лежит.
Ясны очи помрачились и язык умолк.
Белы руки приложились к ретиву сердцу.
Сам приходит и отходит в незнакомый мир.
Тамо зрит ли вещи преужасные...
Вы помилуйте, добрые ангелы...

Эпические строки духовного стиха, выпетые мезенской старухой у младенческой зыбки в запечье, или стариком-помором, потерявшим зубы в зимовку на арктических островах, однажды появились в самом глухом засторонке Руси, где властная рука государства с трудом могла дотянуться до непокорников и призвать к ответу. Это крохотное евангелие, напоминание о путях житейских, и вынянчить и выносить его в груди могло только талантливое сердце простеца-человека, которые вчастую рождалось у Студеного моря. И ничего тут удивительного, что в Беломорье до недавнего времени хранился гигантский эпос русского народного сочинительства – былины, старины, сказания и духовные стихи, молитовки, сказки, наговоры и запуки, предания и легенды...

Ведь выпевал народ свою историю, хранил в памяти многие сотни лет, но в наше дикое безвременье вдруг умолк, даже в застолье за рюмкою хмельного перестал петь, словно ужасом перетянули горло, оглох и онемел и, наверное, навсегда... Так случилось по господней воле, что Мезень и Пинежка – это изначальная русская земля, голос её и дух полузабытых лет, это скромная ладейка, приплавившая русское племя из Арктиды к сиротским берегам нашего обезумевшего времени, это и хранилище древнего правоверия, но это и гроб повапленный, в котором скрылись от равнодушных глаз начала нашего бесконечного кочевья по материкам.

Староверец с младенчества не раз за день слышал и повторял «Отче наш», и эта молитовка впитывалась в каждую волоть мужающего тела и становилась неистребимой отраслью его. Просьба о «хлебе насущном» переливалась в дух и сердце, становилась крепостью души. Но не только ради хлеба насущного (как полагал Салтыков-Щедрин) бился мезенский помор ежедень в смертных морских путях и таёжных путиках, но он видел в этой битве за хлеб насущный продолжение рода своего и будущее русского племени; в житенный каравашек невольно поселялась душа русского скифа, и потому столько почтения и благодарности к «хлебу насущному».

Кормясь от моря, промышленник носил в сердце бесконечную благодарную тягу к земле, отдавая Ледяному океану тело, он душу свою оставлял на родном угоре, в Окладниковой слободке. Для поморского сословия хлеб был не только ествою, но таил в себе религиозные черты, ибо как и человек, хлеб оставался созданием Бога и берег помора для грядущей вечной жизни... Помор с досюльных времен носил в себе знание «Не хлебом единым жив человек». И хотя пластался в изнурительных трудах до гробовой доски, но этого великого смысла не вытрясал из души. Ибо помор был не только великим тружеником, но и мечтательной поэтической натурой. Ведь именно в Помезенье и на Пинежке родина русской былины и сказки... Каждой даже пустяковой вещицы касалась художная рука помора.

При внешней кротости голубенького незамутненного взгляда вдовеющей поморской женки откуда только в трудных обстоятельствах бралась в ней неборимая сила: жилы наливались железом, а сердце упрямым духом жизни; именно северные «казачихи» и взращивали будущих походников, покорителей дальних Сибирей... Наше смирение инородники принимали за покорность; созерцательность – за воловью тупость скотинки, с готовностью подставляющей шею под нож мясника; доброжелательность и гостеприимство – за угодливость. Рус-

ские же блюли время как бесконечность, не признавая его границ; вот и ходили легенды, что русские не чувствуют боли и равнодушны к смерти.

Любопытных иноземцев, угодивших к Скифскому океану, удивляла русская натура, этих людей особой выделки и закалки, словно бы явившихся на землю из иных миров, где обычным смертным не жилось. Иные, раздумчивые, уже в раннем Средневековье понимали влияние среды на человека, в каких условиях выпекается этот божий «хлебец», можно ли его приручить и поставить в «стойло», или лучше гоститься с ним и взять в соседство. Племена столетиями притирались друг к другу, входили в дружество, брали в свою семью или истирали в труху на самой жесткой терке. Много было в Европе славян, носили они всякие самоназвания, порою с чужого плеча, гордились или презирали, но сгорели на огне столетий, ушли в дым. А русские славяне – скифы пережили десятки тысяч лет, чтобы на исходе бурных времен создать империю, когда многие народы, неразумно величась, заблудились и иссякли в кочевьях, никому не принесли блага.

Это о поморах писали: «Природа требует от них выносливости без меры, предписывает житейскую мудрость. Русский дает в себе целый заряд напряженности, своеобычную мощь бытия и существования, пламенное сердце, порыв к свободе и независимости».

М. Уоллес отмечал, что «русский крестьянин обладает такой силой выносливости, которая бы сделала честь любому мученику; его способность к продолжительному упорному сопротивлению не имеет ничего подобного среди других классов европейского населения...»

Сама природа ваяет человека, в ней много качеств художника, и если у скульптора почти всё зависит от его таланта и души, глубины замысла, любовного проникновения в существо героя (почтения, уважения, пронизательности), то «резец» природы обычно безжалостен, грубо отсекает всё лишнее, а если творческий промысел неуспешен, то отправляет своего неудачливого героя на жальник и скоро забывает в земле сырой у себя за пазухой. Но чтобы создать в помощь жертвенного соратника, требуются годы и века. Мать сыра земля не жалеет усилий, чтобы вырастить сына по своей натуре. «Кто в море не бывал, тот Богу не маливался», «Море строит человека, оно не отпускает, но забирает к себе». Отчитают «упокойника» в зимовьюшке, если смерть от цинги обратала в суровую зиму, прикопают в снегу до весны, а после, чтобы не долбить ямку в граните, отвозят усопшего на карбасе в море и «срывают в воду».

Конечно, сам уклад северян, заповеди не дают промышленнику суетиться, размахивать руками в океане и убиваться по артельщику, стонать и уливаться слезами, а велят кормщику делать то, что постановлено предками за минувшие века. Порядок на судне и в становой почти военный, все покрутчики во власти кормщика, иначе недалеко и до греха: артель живёт по неписаному уставу; станешь пушить хвост, вздорить, кобениться – товарищи живо обратают, пообрывают «перья». Суровая Арктика не позволяет хвастаться и форсить на пустом месте... (Всякое, конечно бывало, попадались на промысле и отпетые головушки, кому всё трын-трава, а жизнь-полушка: но подобные разбойники и горлохваты случались в редкость и им не давали круто разгуляться.)

Об особенностях поморской природы, вглядываясь в образ мезенца и пинежанина, поклончиво и почестно рассуждал путешественник А.Ф. Миддендорф, повязавший свою судьбу с Ледяным океаном: «Чтобы проложить себе путь в глубину Севера, при условиях его природы, пускаясь в путешествие для открытий, надобно иметь на всё готовую сноровку, неистощимую изобретательность на всякие извороты, не только быть в одном лице всем: и знатоком всякой сухопутной езды и всякого рода плавания, и зверобоем, и рыболовом, портным, сапожником, плотником, кузнецом, но и во всех этих ремеслах должно уметь тот час, по первому требованию минуты, взяться за выполнение дела самыми простыми орудиями полудикаря времен первобытных...» Само собой все эти качества с полной силой проявились и в полярных плаваниях русских мореходов.

Русские полярные мореплаватели во многом практически опередили западноевропейских моряков XVI–XVII веков и «достигли выдающихся результатов...».

Сколько жизней было отдано пылким мечтаниям мореходов, потоплено кораблей, сколько страданий перенесли, сколько неизживаемых мук испытали, превозмогая Ледяной океан, сколько мужественных судеб пало жертвою океанской волны, сколько мореходцев уплыли в голомень, не оставя родным и малой весточки, и никто достоверно не может представить, а что же двигало христовенького на страдания, что понуждало отправляться в неизвестность, могильный мрак, в ледяную пустынь с такой обреченностью, похожей на очарованность, на колдовской напуск царицы Арктики, и жить на море с такой неумолимой жертвенностью, — что, братцы мои, только руками разведешь, дивуясь, и жалостливо вздохнешь, переживая за смельчаков, от которых не осталось в миру даже крохотной памятки, благодарного отпечатка, за который бы можно уцепиться.

Сколько ни кричи в Ледяной океан, в эту студеную мрачную мозглеть, как ни взывай, увы... никто из голомени не подаст голоса, из морской пучины никто из ушедших не отзовется... Океан не возвращает никого, кто доверился ему с потаённым страхом и любовью; на кон ставились не просто зажиток, хлеб насущный, гобина и промысел, но в отчаянье вознося к Господу последние просьбы о спасении души, главного бесценного достояния поморца, он никогда не отказывался от своего намерения, чтобы изменить жизненные пути даже в те мгновения, когда разыгрывалась человеческая трагедия и на кон в тяжких трудах на ледовой пашенке ставилась своя жизнь и судьба домашних, и это соперничество нам невозможно представить.

Действительно в Поморье на Зимнем берегу обитало редкое, героического покроя русское сословие, и ученые, занимаясь происхождением жителей Приполярья, вдруг споткнулись на геноме помора Зимнего Берега, который оказался, наверное, наследником русского скифа, о котором мы только слыхали, но не знали, даже не предполагали его натуры. Но я не собираюсь никого вводить в заблуждение, дескать, жители Зимнего Берега особенный «малый» народ: это безусловно русские люди одного замеса, но какая-то тайная неповторимая особенность затверждена, укоренена в его свойствах, поведенческих качествах и задатках, которые в сущности и отличают эту беспримесную ветвь северян от прочих русских поморов, живших на двенадцати берегах Белого моря. Арктида выносила, вынянчила своё неповторимое дитя, но заронила «подозрение», что в далеком прошлом все русские, что жили под Полярной звездой, были подобной выделки и того образа, каким вспоминают помора Зимней стороны арабские путешественники.

Об этом сословии уважливо писал великий шведский мореходец Норденшельд: «В 16 и 17 столетиях на берегах Белого моря жило много отважных мореплавателей, но среди русских не было своего историка Гаклюйта, и поэтому имена этих моряков и предания об их путешествиях давно уже забыты».

2

Бытует расхожее мнение, что якобы пришли русские на восток и заняли пустующую Сибирь. Как бы случайно забрели в продуктовую лавку и набили походный сидор за бесценок мясной обрезью. Дескать, встретили «дикари» незваных гостей с распростертыми объятьями, будто ждали пришельцев тысячи лет, и вот, наконец, слава богу Нуме, явились... Так заждались самодины белого человека: мол, гостеньки дорогие, берите в руки тоскующую сибирскую землю и владейте ею.

Вроде бы сущая правда, ибо такое впечатление создавалось в народе при полной исторической немоте: вот лениво тешился мужик на русской печи в обнимку с чугуном гречишной каши, потом по нужде сполз с лежанки, вылез на заулок, побрел неведомо куда по Канин-

ским болотным сырям, обогнул Колгуев и, нечаянно, сглупа, угодил на Ямал, в неведомую бескрайнюю сибирскую землю, наткнулся на самоедов, жадно порасхватал что плохо лежит и побрел на край света, и вовсе пропал, оставив по себе как туманное напоминание о былых кочевьях лишь странное название «русский». (Это мнение историка Льва Гумилева, сына поэтессы Анны Ахматовой.) Не стоит, наверное, объяснять, сколько тут коварно прикопано скверны и неправды, и под видом ароматной приправы подливают её нам в либеральное кушанье уже сотни лет, чтобы мы, неучи, бродили в потемни... И этот глум мы потчует, под него «пляшем и поём», строим свою душу и празднуем беса, и всякую искру света из доброго сердца стараемся задуть и заплевать... (Оказывается, братцы мои, русские – крохотное племя – в давние поры сошли на нет. А откуда тогда взялось Русское море, какими чудесами содеялось? Нас уверяют, что у русских варваров до царя Петра не было своего флота, а с каких шишей появилась великая Русская равнина, охватившая половину Европы? И как смотрели британы на эту нечаянную радость? На эти вопросы великие философы-искусники, поклонники «золотой куклы», не отвечают.

Не пять месяцев поморы забирались на восток от Груманта до мыса Табин (пролива Аниан, отделяющего Азию от Америки), как уверяют нас слепые и глухие ученые господа, что кормятся из «государевой кухни», а не менее тысячи лет, может быть и куда больше (ведь по-хозяйски не освоились и поныне), и те путики многожды зарастали нежить-травой, чтобы однажды снова всплыть из небытия под сапогом нового землепроходца. Падали угрюмые елинники, изживая свой век в чащиннике, тонули в комариных воргах полузабытые волока, скрывая старинные тропы и засеки, вроде бы навсегда исчезало в суземах бывшее присутствие человека, навечно пропадали племена и народы на лукоморье Ледяного океана; в своё время и в свой срок прибирала мать сыра земля беспокойных неживчивых детей. И белокурый голубоглазый народ лукоморцы («сыртя»), что занимал берега северных морей от Колы до Индигирки, чудь белоглазая и черноглазая, скифы, печёра, инды и ганги, те оседлые ремесленники и мореходцы, что ковали бронзу и серебро, ваяли мелкую пластику, звериный мир и своих кумиров, ходили по Ледяному океану за зверем на лодках из рыбьей кожи и китовых рёбер, плавали за морским зверем, сами ростом мелкие, как подростки: может быть, лукоморцы ещё застали мамонтов, пасли на заливных соленых наволоках стада этих послушных гигантов, ибо исполинские существа тогда во множестве обитали на северах, пока-то горы мяса погрузились в матерую землю, но бивни со временем выперли из сказочного забвения на белый свет и невольно обнаружили нам свидетельством их прошлого обитания у Ледяного океана. Когда самодины, чукчи и юкагиры, ханты и манси спустились с Алтая к Великому Ледяному океану, – на Ямале и Таймыре уже многие века обитали лукоморцы, скифы и чудь, и когда русские в начале Христовых времен направились в страну гангов – это был не пустой дикий край, а земля, уставленная городами и селитьбами, заселенная близкою роднею, пришедшей под Полярную звезду на тысячи лет ранее наших предков...

«Сапоги дорогу знают», – отвечают отчаянные русские ходоки, если их спрашивают о грядущих путях.

Пантелей Пянда, уроженец Подвинья, в 1618 году прибыл в Мангазею; через год редкой отваги поморец отправился в Норильские горы, куда до него никто не хаживал, отыскал там серебро, организовал поход на дальнюю реку Емеэнэ (Лену), чтобы обложить чужеземцев яском. О Пянде никаких сообщений не осталось, кроме этих кратких записей. Но для семнадцатого века это был человек выдающийся, страстной, волевой натуры, кряжистый, дородный видом, истинный груманланин, хотя и родился не у Белого моря, а в глухой тайболе на крохотной речушке Пянде, притоке Вычегды. Какой душевный распах и очарованную душу надо было иметь человеку, чтобы наслушавшись калик переходов и стариков из Соли Вычегодской, вдруг из умирающей деревнюшки в пять «дымов» скинуться в неведомую даль. Таким отчаягам, презирающим смерть, Господь частенько мостит дороги. О серебре в горах за Енисеем

он, наверное, знал не понаслышке. Такое впечатление, что к этим открытым залежам привел Пянду какой-то знаткой промышленник из чуди белоглазой или лукоморцев, уже исчезающего племени (сирте). Нам сложно гадать. Но серебра Пянда накопил изрядно и на эту дороговью, продав в Туруханском остроге, сшил несколько кочей, собрал сорок «гулящих» поморских ребятишек и в 1620 году покинул острог вверх по Нижней Тунгуске. Землеходец каких поискать затолкался на шестах и лямках в те земли, куда до него из русских никто не хаживал, – так сообщают историки. Может, и молчат архивы, и минувшие деяния навсегда схоронились от нашего любопытства. Но тут сразу возникает множество неясностей, которые в этом материале коротко не объяснить. Открыв кратчайший переход, через Чечуйский волок вышли на Лену, срубили становье, сшили легкие лодки и, перезимовав, после ледохода поднялись вверх по великой реке на 2400 верст и, оставив суда, отправились бурятскими степями на запад до Ангары. Здесь снова сшили лодки и по Ангаре сплыли 1400 верст по течению, доказав в том походе, что Ангара и Верхняя Тунгуска – это одна река. Только в 1624 году ватага Пянды вернулась на Енисей, преодолев дорогу в восемь тысяч верст. (В посёлке Витим Пантелею Пянде стоит бронзовый памятник.)

Годами ранее по Южному Таймыру бродил с ватагой «гулящих» великий мезенский помор прозвищем Волк; не имея ни карт, ни наставлений, ни продовольственных магазинов, ни зимовий, ни становий, но лишь воодушевление, веру в Бога и тайное наущение, какими-то чудными путями насланное ему для удачного предприятия, он не только собрал с самодинов ясак, но и зарубил на реке Кете, притоке Енисея, первый острожек, оставил за стенами часть ватаги и побрел встреч солнцу, открыл волока на Яну и Лену и за три года пути в три тысячи верст среди диких племен чухчей и юкагиров, энцев и якутов принял огромную землю под московского царя. Но я думаю, что поход мезенского Волка в тамошнюю глушь – это не начало истории Таймыра, но лишь до сих пор не прописанная страница русской судьбы, у которой мы так и не отыскивали первых, изначальных глав, так глубоко затерялась и, увы, наверное, навсегда пропала сибирская драматическая глава русской истории...

Конечно, мои рассуждения можно принимать за мифологию, ведь этих фактов не обнаружить в летописях, древних списках; но так же, как мы не можем прочесть ни одного послания из уст самого Господа, но каждое слово Его, запечатленное апостолами, звучит и поныне, как громовое отражение из райских палестин во все окраины мира, и православное сознание верит им, принимает божьи откровения за неопровержимую истину...

Я уже сообщал в первой книге «Груманланы» о невообразимых тяготах, что терпели «гулящие люди» в сибирских походах, ведь в казачьих отрядах, открывающих новую землю, на каждые пятьдесят военных приходилось полторы сотни отчаянной деревенской вольницы с Мезенской волости, привыкшей с четырнадцати лет плавать в Ледяном Скифском Океане. Это пространство (Ледовитый океан, тайга-тайбола, тундры и реки) и выделяло особого сорта людей: мужественных, отчаянных, порою бесшабашных, переносящих нужу и стужу, цингу, безвременную смерть, подстерегавшую в каждое мгновение. Это было племя воинов. Многие из них в семнадцатом веке поверстались в казаки, но родина-то их осталась на Мезени.

Семен Иванович Дежнев, уроженец из деревушки Осиновской Волокопинежской волости, что в шестидесяти верстах от Мезени, жаловался государю Алексею Михайловичу в челобитье, написанном дьячком, на свою тяжкую несносимую жизнь: «Встречь солнцу идучи, я пошед из Енисейского острогу служить тебе, великому государю, всякие твои государевы службы и твой государев ясак збирал на великой реке Лене и по иным дальним сторонним рекам в новых местах – на Яне, и на Оемоконе, и на Индигирке, и на Алазейке, и на Ковыме, и на Анадыре реках без твоего государева денежного и хлебного жалования, свои подьёмы. И будучи на твоих государевых службах в те многие годы всякую нужу и бедность терпел, и сосновую и лиственную кору ел, и всякую скверну принимал двадцать один год, тринадцать раз был ранен на боях и три раза тяжело...»

Сухие строки отписок не передают всю отчаянность походной жизни вдалеке от отчего дома. Кто-то, наскитавшись, вернулся под родную крышу с пустыми руками, так и не нажив живота: и чтобы завести семью, надо было заново идти в покрут на зверобойку за жалкой копейкою; кто-то сгинул в чужих краях не вем где, и родные уже отчаялись когда-нибудь увидеть сына и мужа. Иные обсемились по берегам великих сибирских рек, сменив парусный коч на соху: открылась им жирная земля, неохватная взгляду, а воли – как в Студеном океане, и Сибирь стала новой родиной. По Индигирке, Колыме, Енисею, Оби в Забайкалье выросли мезенские деревни...

Бесхлебица гнала поморцев на восток, но неистовый царь Петр заворачивал их обратно, не слыша жалостных молений на несносимую нужду. Над Россией вспыхивали первые гари, неистовый русский император загонял своих подданных в костер...

Крестьянка из Соли Вычегодской шлет писёмко в Якутию Константину Красильникову, чудом сохранившееся, из семнадцатого века дошедшее до нас:

«От матери твоей Настасьи к сыну моему Константину Ивановичу благословение и поклон, – пишет неведомый дьячок в съезжей избе. – Буди на тебя, сын мой, моё материнское благословение до века в сем веке и в будущем. Я божией милостью у Соли Вычегодской у зятя своего Ивана и дочери Огрофены на подворье до воли божьей жива, а впереди тою же Спасова воля.

А жена твоя Марья, дал Бог здоровья, живет у Соли Вычегодской со мною вместе да сын твой Петруша. Да Бог тебя судит, что ты меня, мать, позабыл и кинул на старость, ко мне по сё время не приедешь.

И ныне, чадо моё, помилуй меня, утоли мои материны по тебе слёзы, беспрестанно по тебе горькими слезами на старость плачу, на жену твою и на сына твоего смотря.

Послушай, Константин Иванович, меня, мать свою, и не презри моего моления. И буде меня не послушаешь и материно моление презришь и сам не будешь, и меня, и жену свою покинешь, и тебя, сын мой, за твои ко мне непослушания не будет милость божия и моё материнское благословение.

А сын твой полумужик, бог дал ему разум, а промыслу никакому учить некому».

3

Волею случая «гулящий» парень Семейко Дежнев вдруг оказался в казачьем войске и вписался в героическую русскую историю. В 1630 году из вольных людей Тотьмы, Великого Устюга, Вологды, Соли Вычегодской, Пинеги, Печоры и Мезени набрали для службы в казаках 500 молодых парней, кто не тянул на земле тягло, не имел пашни и семьи, но был сам себе хозяин. 150 «отбойных ребятишек – самому черту ровня» (среди них и был Дежнев) отправили через мезенский волок на реку Обь в Мангазею, через три года на кочах отвезли в Тобольск, а оттуда в Енисейск. В 1636 году они оказались в отряде енисейских казаков под началом мезенца Посника Иванова (Губаря). Так десятки поморов-покрутчиков отвязались от Скифского океана и, сунув голову в служебную лямку, стали тянуть трудную долю свою до конца жизни, где каждого в свой черед и нашла героическая смерть: были они вольные груманланы, а стали царскими служивыми за клятвою и крестным целованием... А мы, не зная народной жизни Средневековья, думаем, что Сибирь забирали за себя донские и кубанские казаки, те самые, что норовили поднять Русь на дыбы при Алексее Михайловиче, Петре Первом и Екатерине Второй.

Но то были казаки южных, пылких кровей, а Сибирь воевали под московский трон горячие, но не менее отважные их братья, – рассудительные русские казаки-скифы Ледяного океана... И пели они не боевые песни, а величальные, духовные, былины и притчи, сказы и сказания в зимовьях и на зверином разбое, на охотничьих путях и промысловых станах на берегу

океана, когда глухая ночь на шесть месяцев плотно обнимала Грумант и Матку. Вот в эти грустные темные часы, когда в двери зимовейки скреблись, приступая к мужикам, двенадцать иродовых девок-цинготниц, и раздавалась протягливая песнь старого певуна-былинщика, ждущего на промысле подобной минуты, чтобы сердце артельщика отпустила внезапная гнетая. Да что там, братцы мои, вести пустяшные байки, коли уже, никогда не представить и на мгновение, как живали наши предки. И даже моя художная рука тут вздрогнула и застыла. А то ли пишу?

...А быллинщик вдруг зачитит мезенскую ходовую песню и невольно возвеселит станомье, и покрутки подхватят, подбивая в пол кожаными отопками:

Грумант-батюшко страшён:
Весь горами уснащён.
Только я не утратился —
На зимовку покрутился.
Ухожу на промысла
Я от свары и от зла.
Не боюсь я зимовки. *(Подхватывают артельщики хором)*
А боюсь тётчи злой.
От неё как от мороза,
Обдерет на теле кожу.
Только зимушку одну
Проживём мы на стану.
И к Воздвиженью крестному
На Мезень вернемся к дому.
Не боюсь я зимовки,
А боюсь тётчи злой. *(Дружно подпевает вся артель)*
Ежель море не возьмёт,
Ежель ошкуй не сомнет
Да чиньга-анафема.
Со зимовья нашего
Мы в родимые места
Возвернемся не спуста.
Не боюсь я зимовки,
А боюсь тётчи злой.
Пусть она, чертовка злая,
И кидается, и лает,
Как собака на попа
Средь Великого поста.
Плюну в морду тому псу
Во своём я терему.
Не боюсь я зимовки,
А боюсь тётчи злой...

Дурно чадит сальница день-деньской, на улицу не сунуть носа, унесёт в гранитные щели, сдует в океан, забьет с головою в снег; уже неделю сотрясает стену зимовья пурга, замата охотничью избу под самую дымницу, в печуре вспыхивает под порывом ветра тшедушный лоскуток пламени (прижаливают артельщики дровишек), и так истошно плачет в трубе унывный голос злой вопленицы старухи-цинги, вестницы смерть. А надо парням шевелиться, упорно вести заделье, ведь только через два месяца приподымется над океаном первое «солнушко» и на всё лето уйдет тьма... Слава, братцы, баюнку-былинщику с Мезени и Кулоя, доброго ему

здоровья на многие леты, что тешит, милосердный, замрелую поморскую душу покрутчика и не дает пасть бедному зверобою в кручину.

По рассказам зверобоев Зимней Золотицы, писала поэму о соседях-зверобоях бобылка с Зимней стороны сказительница Марфа Крюкова, которую я уже не застал в живых, когда приехал в её деревню:

Зимованьице – наша зимовочка,
Зимовочка – наше жированьице.
Тут ведь не радостная наша зимовочка...
Нет от нашей от родной стороночки
Ни пролетного-то нет да ясна сокола.
Ни птицы перелетной малой пташечки.
Нет и скорописцетой к нам же грамотки.
Нет низкого нам да нет поклоннику.
Нету же великого да челобитьица,
А и Груманьски острова каменистые,
На горах же там да снега страшные,
А и на морюшки зимою льды морозные,
Когда сбushует море Груманьско;
Разыграется погодушка:
Страшна, страшна груманьская музыка.

Вот такой бедовый народец с Мезени и Пинеги и собирала Москва в казачье войско, с этими «гулящими» и воевал Сибирь атаман Ермак Тимофеевич.

* * *

Мезенец Волк, наверное, не случайно носил такое грозное прозвище. Фамилию унесло временем, а прозвище в народе осталось и угодило в русскую историю, ибо много героических дел совершил отважный поморец, «гуляя» по Сибири. Он был, наверное, из той породы русских скифов, что ни дьявола, ни старухи-цинги не боялись, такой отважной закваски человек, что самой смерти мог плюнуть в лицо. Осталось тайной в каких дебрях он встретил последние дни...

Русский писатель, замечательный историк Сергей Марков с восторгом вспоминал Волка и предлагал включить его имя в помянник самых выдающихся землепроходцев, рядом с Дежнёвым, и очень сожалел, что имя мезенца Волка выпало из национального всеобщего почитания. Мезенец Волк, наверное в Бырранг, землю злых духов, необитаемую страну мертвых, не забродил с ватагою, а нарыл серебра с южного края гор – это циклопическое нагромождение черного камня, посреди красно-рыжей тундры длиною в тысячу сто верст. Краски восхитительные при всей напряженной драматичности пейзажа, в котором, несмотря на красоту природы, любая жизнь была невозможна. Тут не только безлюдно на тысячу вёрст от Енисейского залива до моря Лаптевых на востоке, но и на сто пятьдесят вёрст к югу царствуют злые духи, и сам Господь отступил к Туруханску, где мезенские охотники заложили становье в 1600 году в одно время с Обской Мангазеей. Первую избу будущего Туруханска заложил мезенец Волк, когда шел с Енисея на Лену через Оленёк и Яну. На Бырранге не обитают звери, не летают птицы, не гнездятся чайки, лишь столетиями воскуряет дыхание бездна, не гаснут залежи каменного угля, и в долгую полярную ночь эти вспыхивающие языки злого пламени напоминают багровые глаза бессонных демонов; смешиваясь со свинцом, оловом, медью и серебром, работники ада создают смертельно ядовитую смесь. Если возжигая церковный ладан, человек получает

сладкое томление души, то «благования» гор Бырранга, возносящиеся в небеса, несут гибельный дух.

В глубь Таймыра никто не заходил, старались миновать стороною, чтобы не будить «страну мертвых». Так и жил замкнуто и полузабыто самый край русской державы тысячи лет со времен вулканических бурь, когда со дна Мирового океана поднимались грозные идола, не в силах разомкнуть взгляда. В одно время с Таймыром вспучились аспидно-черные горные отроги Груманта, Матки (Новой Земли) и Урала: сам вид каменных круч, эта враждебная неласковость и угроза постоянно напоминали, что они дети одного материнского лона, и несут общее содержание пород, богатых рудами, словно бы Господь и создавал их для русского скифа, одаренного талантами, склонного к промыслам и ремеслам. Чудины и лукоморцы, наверное, испугались Бырранга и утешились богатой медью Усть-Цильмы и Печоры, добыли в тамошних раскопах миллионы пудов медной руды и олова и отвезли художникам Греции и Венеции.

Сам вид Бырранга, прекрасный и трагический, повергал пришлого человека в ужас, клонил к земле, напоминал ему, сколь мал он и ничтожен, жалкий червь, даже энци и юкагиры, пришедшие на полуостров с Алтая, так и не осмелились пройти через Бырранг к Ледяному океану, словно бы утопили ключи от сундука с сокровищами в бурных водах скифского океана. Сотни лет остерегались самодины навещать дикие уголья, напоминавшие им давно усопших предков, вдруг восставших из адовых теснин. Даже порожистые прозрачные реки и богатые травой наволоки и рыбное озеро Таймыр не могли соблазнить кочующих самодинов. Легенды уверяют, что вдоль берега океана стояли монгольские почтовые станы, где держали громадных ездовых собак величиною с теленка и восемнадцать псов, запряженных цугом, везли на нартах служивых и послов, попадающих на реку Лену, а оттуда на Байкал и в Монголию к великому отцу народов Чингисхану.

В 1735 году через Таймыр проходил отряд Великой Северной экспедиции, которую возглавлял Василий Прончищев. Под его командою было много мезенцев. Прончищев исследовал побережье океана от устья Лены до устья Енисея. Этими путями хаживали мезенские и пинежские поморы более двухсот лет, а если заглянуть в сумерки истории, то можно погрузиться в далекую древность, в те времена, когда к Ледяному океану прикочевали русские скифы: по лайдам бродили стада мамонтов и промышляли оленей саблезубые тигры. В моих рассуждениях нет ни капли фантастики; просто наш убогий скособоличившийся ум никак не может залучить и пленить за жилистый хвостик убийственные факты из того времени и оживить их. Ах... эта заморная мамонтова кость, будь она неладна, сидела бы в ледяной мгле и не лезла наружу. Ухватила русских поселенцев пятнадцатого века прямо за пяту и заставила течь историческое время по другим часам. Теперь из бивней мамонтов точат бильярдные шары, а матерые леса, что стояли по лукоморью, превратились в нефть, из которой гонят бензин. Но стоит вернуться к Василию Прончищеву. 30 августа 1736 года у зимовья на реке Оленёк он сломал большую берцовую кость, и так неудачно, что вскоре скончался. В походе служила его жена Татьяна, и по смерти мужа она возглавила экспедицию. Но пережила Василия всего на 14 дней. Их похоронили рядом в устье реки Оленёк. В 1914 году члены экспедиции Вилькицкого назвали эту бухту в честь Татьяны Прончищевой... Гранитная кабафония Бырранга, этот каменный хаос, не манил к себе поморов-промышленников: сунув нос в первый же распадок, они спешили прочь из ужасной земли, вставшей на дыбы, как уросливая лошадь: но таких непослушных жеребцов вздернули тысячи, и каждый вздыбленный конь не слушался прищипца, но пытался сронить с седла к подножию горы. Такая, наверное, мысль невольно путала дорогу охотнику. И если какая-то беда случалась со зверобоем в море и его выкидывало на берег, то редкий путник пытался спрятать дорогу через Таймыр, и потому затерявшуюся ватагу никто и не искал на Бырранге у сатаны в гостях.

В конце семнадцатого века из устья Енисея вышел с отрядом служивых людей на Восток промышленник Толстоухов по прозвищу Толстое Ухо, выходец из древних дворянских родов. На свои деньги сшил три коча и решил спрямить путь, плыть на Лену морем, вдоль берега Таймыра, хотя этой дорогой никто не хаживал до Толстоухова и о том не толковали. В последние двести лет в Скифском океане резко похолодало, и на мезенскую сторону навалилась стужа. (Морозные зимы я ещё застал в детстве: перепадало под минус сорок и ниже, да ветер хиус, да завальные снега... Такая погода нынче уже не прижимает.) Полуостров Таймыр, казалось бы, вечно пустующая земля, на которую самим Господом наложена таинственная печать ужаса, некая забытая страна, терра Инкогнита, зачурованная, заколдованная, сказочная, стихия, навевающая страхи, «владения мертвых». И к ней близко не подходи, и все старания русских мореходцев обогнуть Ледяной нос кончались крушением: вдруг налетит разбойный ветер и корабль выкинет на берег, иль зажмет льдами, а экипаж вместе с обломками судна затянет в ледяную прорву. Подойдут мореходы к Таймыру, и если нет ветра-противняка, ветра в зубы, то иль льды зажмут, иль попадет под днище невесть откуда взявшаяся каменная корошка и заберет в плен, и если есть возможность, то мужики вагами вздымают судёно на торосящийся лёд и спешно разгружают походное артельное хозяйство на берег, тянут в сухое место и обреченно смотрят с «костяного» угора на свой коч, как обреченно погружается он в пучину вместе с нажитком.

Может, три столетия назад при великом князе Иване Калите, иль ранее того, ещё при Андрее Первозванном, жили по берегам Скифского океана те счастливчики, что в одно лето ходили водою от реки Мезени до Лены... Но, увы, даже слухов от них не осталось, и всякий след стерся.

Многие ученые и поныне отчего-то полагают, что лихими морскими волками в древности якобы были новгородцы... Да нет, кишка тонка; они, воинственные кочевники, бродили сухопутьем в Запечерье и в Двинские земли, а плавать по океану не решались. Только дважды владыка новгородский Василий снаряжал людей плыть до Печоры мимо норвегов. Суда дошли до огромного неведомого острова (Матки) и, не зная, что это за таинственная скалистая земля, с шапками снега на вершинах, один раз высадились с сомы, попытались взобраться на гору, но, напуганные полярным сиянием, скорее вернулись на корабль и с великими бедами вернулись в свой Новгород, рассказав архиепископу о виденном ими необыкновенном свете, льющемся цветными потоками с неба. Так новгородский владыка Василий в тринадцатом веке впервые узнал о северном сиянии и поведал об этом чуде всему миру, описав путешествие новгородцев в книге. Из этого похода вернулась лишь одна сома, другая утонула от разбойного ветра.

В семнадцатом веке мезенские и пинежские поморы часто ходили на Лену средним путём от Енисея до Нижней Тунгуски, дорогою груманланина Пянды через волока и каменные гольцы. От её истоков переваливались вместе с грузами на реку Лену, перетаскивали кочи, а спустившись до океана, иные мезенские смельчаки сворачивали к востоку, до Индигирки и Колымы, другие правили за ясаком на запад, к Оленьке и Анабаре, и, обложив податью ламутов, самоедь и юкагиров, возвращались морем обратно к воеводской избе, что стояла вверх по Лене за тысячу вёрст. А вот лукоморье от Анабары до Енисея, где гранитной стеною встречала Барраига – «страна мертвых», было безнадзорным, неуступчивым для торговцев, промышленников и государевых слуг.

В 1878 году швед Норденшельд под норвежским флагом впервые в полярной истории обогнул полуостров Таймыр. Знаменитый мореплаватель представлял трудность похода, готовился к нему, сознавая важность предприятия, изучал русские карты, встречался с поморами, брал у них свидетельства о нравах океана, как готовиться к зимовке, читал труды Ломоносова, путевые записки морских экспедиций, много лет посвятивших Арктике, свидетельства доносчиков и шпионов, во множестве болтающихся по северам после Смутного времени, плутовски проникающих в каждую прорешку русской нескладицы, чтобы улучшить легкого прибытку.

Ведь вся окаянная дорога от Канина до мыса Табина (Семена Дежнева) к тому времени уже была выложена русскими мореходами на географические карты.

И когда шведу Норденшельду удалось обогнуть Таймыр без зимовки, он испытал неведомое до сей поры счастье и небывалую сердечную радость. Норденшельд писал: «Вся обширная часть океана, простиравшаяся на девяносто градусов долготы от устья Енисея мимо Челюскина мыса, за исключением береговых объездов, никогда ещё не была проходима ни одним кораблем, не носила на своих волнах ни одного корабля». Дойдя до залива Челюскина, он взволнованно воскликнул: «Мы достигли великой цели, к которой стремились в продолжение столетий! Впервые судно стояло на якоре у самой северной оконечности Старого Света».

Понятна радость знаменитого европейца, но Норденшельд ничего нового не открыл, ничего не добавил к истории Арктики, ничего дельного не совершил, диких берегов не осваивал, острогов, выселок и слобод не ставил, кормные – охотничьи уголья не искал, к земле для пахоты не приценивался, к будущему житию племени не приглядывался, каково будет народу, если захочет тут бытовать, но лишь достиг зачурованного места, куда не ступала нога человека (так полагал путешественник), о котором много лет мечтал, но куда русские руки не доходили, зная время ещё не пришло. Но похвальной славы Норденшельд добавил для своей достойной фамилии изрядно и, к своей чести, на русское племя ни одного облыжного дурного слова не кинул, ибо со своей практики представлял, сколько мучительных трудов пришлось положить русскому человеку, чтобы достичь востока Сибири и водрузить над ним своё православное знамя.

К тому 1878 году, великому для шведского вездеходца, поморы, не имея особой obsługi, снаряжения, баз снабжения, станов и становищ, школ, больниц, денежных сундуков, банковского капитала, вездесущих евреев – менял-процентщиков и поддержки властей, на утлых кочах, сшитых вересовым вичьем и деревянными гвоздями-нагельями, с ровдужными парусами из оленьей кожи, за пятьсот лет освоили и покорили в труднейших испытаниях огромный азиатский материк и заставили его служить России верой и правдой. И в этих трудах есть громадный, замечательно исполненный урок мезенских груманланов: и пусть бывшие успехи поморов ныне преданы забвению, и редко кто помянет их заслуги и героическую службу в казачьих ратях, а их подвигами пользуются зачастую мошенники и выжиги, мелкие меркантильные поделники, складывая уворованную казенную деньгу в свою зепь; но что нам, русским, похвалиться и считаться поклонами, если мы родовой памятью знаем, что в московский денежный скоп приложены, может, главные (для того смутного времени) спасительные поморские рубли. Мезень изрядно потрудились в Средние века, не жалея своей горбины; приклонив под Москву Сибирь, тем самым помогла осилить немецкого изверга в 1941... Хорошо, если Москва будет помнить и почитать заслуги поморов: но и поныне черпая богатств из мезенских угодий, она не спешит облегчить несносимую жизнь северян.

* * *

Какими путями поморы двигались на восток, тех следов уже нет, тех путиков и волоков, засек, троп через гольцы, тайболы, диких урочищ, гатей и переправ, зимовий и кушных изобок: переброды и перетяги, зимовья и сиротские хижи, всё погрязло в чищере и нежить-траве, пропало всякое напоминание о русских кочевьях.

Но когда Норденшельд, гордый своей удалей и удачей, проплывал мимо Таймыра к Лене, он ещё не представлял, что по всему лукоморью от Анабары до Индигирки уже столетия вольно обитают русские «пионеры», и не только гуляющие москвиты, сезонные промышленники и рыбаки, но оседлые, предприимчивые мезенцы и пинежане, печоряне и пермяки, – самая соль Русской земли, хозяева тамошних угодий с женами и детишками. Проживают свой круг жизни в заимках и зимовьюшках, вдали от мирской суеты, «и никто им не указ». У каждой виски, у

истока речушки, и озерца, спряталась от лихого постороннего взгляда, схоронилась пригорб-лая невзрачная серая изобка в три окна, без всякой украсы-басы, похожая на морской валун-одинец, срубленная из плавника; тут же, под угором, морской карбасишко, всегда готовый к походу: если был на задах травяной наволочек с заливной соленой травой, то бродит скоти-нешка – лошадь и корова; свернувшись калачом у уреза реки, стережет дворище чутыстая зверная лайка, поглядывая «в один глаз» на заворот порожиистой реки – не попадает ли мимо водою к морю кто чужой; над крышей вьётся печной дымок; полощет белье жёнка, заткнув подол косоклинного сарафана за пояс; седой дед-хозяин перетряхивает сети, развешивает на вешала; старая большуха перебирает морошку из пестеря в берестяный туес; в угоре суту-лится кудлатый кургузый мужичонка в бахилах с долгими голенищами по рассохи, с поясной бородою вехтем, с коричневым заветренным лицом, одной рукою равнодушно отмахивается от злого гнуса, всматриваясь в излучину (не несёт ли кого сверху леший, вроде бы оттуда слы-шались голоса), другой прижимая к себе сынишку, размышляя, браться ли за оружие или споро пускаться в бега, в тундру за обмысок, принакрытый березовой ерою, если беда уже рядом. Ведь многие на дальних сибирских зимовьях были из староверов, в давние лета бежали от сто-личного гнета и антихриста, засевшего в православной церкви, через которого в семнадцатом веке случилась беда, и пришлось бить новые дороги на восток. Вот так и текла веками русская жизнь близ Таймыра от реки Анабары до Анадыри, а Нордельшельд её и не заметил... Да что там великий швед, если московская власть столетиями не подозревала о русских таинственных сидельцах на востоке и не могла обложить их налогом. Поморам, потерянными и забытым в столице, не надо было искать рая, они жили в раю (как им казалось), но он – этот благословен-ный рай – доставался через вековечный тяжкий труд от рождения до смерти.

4

Острова Фаддея были названы в честь святого – доброго хранителя всех плавающих по морям-океанам. Это крохотная безнадзорная покинутая Богом забытая земля к востоку от про-лива Вилькицкого, куда из веку никто не хаживал, и даже местные кочевые самодины, ламуты и юкагиры говорили шепотом о каменных горах Таймыра – владениях сатаны. Терпящие беду неизвестные путешественники, случайно угодившие на Фаддея, в надежде спастись, выбраться из ледяного капкана, так и не сумели «перетереть беду», пропали в темени веков, не оставив по себе никакой весточки. Три крохотных островка, скалистых, едва принакрытых тощевой тундрой, ни зверя на них, ни птицы, лишь камень-плитняк и сугробы из гальки, которые рас-кидывает по островам Фаддея злой ветер-полуночник, да перекатываются по «няше» солёные морские волны, отороченные белыми водяными воротниками.

...Кто были эти люди, из каких краев? Что за нужда погнала их в гибельные углы? Иль бежали от погони, боясь враждебных людей, иль натворили зла «на Матёрой земле», и от суда и страшной мести пришлось прятаться? Иль то были поморы-староверы, убежавшие от мос-ковского антихриста, искавшие скрытню, чтобы в глухом углу поставить кельи? Иль плыли прожиточные торговцы, скупщики черного соболя и голубого песка? Но одно верно, тоболь-ский воевода Головин команды на этот поход не давал, и целовальника, и казачьего атамана не спосылывал, и воинскому начальнику наказа не давал, – если действительно при Головине уходили с Оби эти промышленники; никаких записей в таможенных книгах Тобольска, Ман-газеи, Пустозерска и Мезени не нашлось. А может, плохо искали в московских архивах?

...Появились за Таймыром христовенькие из ниоткуда, обогнули ледяной мыс Челюс-кина на коче, самую северную точку в Арктике – и пропали в никуда... Но трагедия настигла, наверное, в августе, когда ещё не стемнилось и до полярной ночи оставался месяц. Неожиданно повернул ветер в зубы с полуночи, кочи не стало пути, его сбило в берег, судно омели-лось, село на каменную корожку и его стало запрокидывать штормовой волною на бок, мачта

лопнула, и ровдужный парус опрокинулся на воду, креня кочу. Мачту срубили, команда стала шеститься к островам. Кормщик был «знаткой», известный на Мезени морской бывалец, иначе бы не поперся вокруг Таймыра, где понатыкано в океане корг и корожек, сувоев, мелей, бакланов и песчаных перемелей. Наверное, известного поморского колена старикан, ходил на Грумант и Матку, плавал по Оби и Енисею, подымался до Иртыша, имел лоцию и еще дедовы записи морских ловушек, ветров и течений от Енисейской губы до Анабары, человек не робкого десятка: «тюха и байбак» не подался бы в чужую, нехоженую сторону, на гиблый промысел на Лену, прямоходкой мимо Таймыра, «земли мертвых», куда, по рассказам бывалых старых поморов, редко кто насмеливался плыть в последние времена, когда шибко засуровила, закрутила погода, не давая спуска... Много поморов ушло на восток, записались в казаки, чтобы спроворить на семью хоть какую-то копейку; но по разговорам, все промышленники от Мангазеи поднимались по Оби, на Нижнюю Тунгуску, а оттуда волоками на великую Лену, по ней спускались до Ледяного океана...

Прежние пути вдоль морей за двести лет подзабылись, многое сменилось в природе, да и вешки, и затеси, обетные кресты поиструхли, погрузились в землю, не на что стало опираться кормщику в дороге. Почитай, на два века напустились на Поморье жуткие холода, природа печально сникла и пожухла; круглое лето то зябели, то замоки, паморока, гибельные туманы, солнце пропало за горизонтом и не «кажет» глаз – одна тоска: зимою морозы под пятьдесят, по океану плавают гигантские торосы, «ледяные дворцы и соборы» не дают ходу морякам. Затонули сотни кочей и лодий, погибли тысячи покрутчиков-зверобоев и рыбаков, деревни запустошились, погрузились во мрак и ужас голодный смерти...

Главный остров Фаддея (один из трёх) чуть больше четырех квадратных верст. Прибегища команда не выбирала. Пристали там, куда приневолила судьба, прижал порыв ветра. Сейчас нам трудно что-нибудь объяснить в трагедии, понять замысел хозяина и поведение кормщика, от которого зависела судьба покрута. Наверное, как полагалось на зверобойке, на коче было два морских карбаса, а может, и пять, и когда коч сбило на перемелье, посудину стало резко кренить. Якорь потеряли, видимо оборвали «шейму» (якорный трос), когда лавировали у Ледяного носа (мыс Челюскина), пытаясь его обойти, зацепиться в шторм за каменистую коргу, и с того часа отдались воле ветровой «боры». Побережник резко сменил на полуночник, затрещали нашвы, покатались бочки с морошкой и молоком-ставкой, подводной гранитной перемелью пробило днище. бортовые тесины, сшитые вересовой вицей и деревянными нагелями (гвоздями), разошлись, и в эту прореху, которую уже ничем не заткнуть, поплыли в море рогозные кули с солью и житней мукою... стёгна соленой говядины, ушаты с рыбою, связки юколы – всё пропитанье и походный скарб, что взяла артель в дальний путь, на что можно было опереться в крайнюю минуту.

Из снаряжения и менового товара, наверное, было на судне многое, что обычно берут поморы-промышленники с собою, отправляясь в Сибирь. (Я уже перечислял сборы на промысел в первой книге о груманланах.) Мужики, что успели, «варзаясь» по пояс в студеной воде, вытаскали на неведомый островок, скидали в промысловые карбаса.

Лишь кто бывал в подобных обстоятельствах, поймет немилостивую беду, в которой оказались промышленные люди в Ледяном океане, когда на тысячи верст лукоморья ни одной живой души. Хотя сердцем и были готовы к испытаниям, но смерть обычно поджидает, когда её не ждут.

* * *

На следы древнего крушения на островах Фаддея и на становье в заливе Симса гидрографы наткнулись в 1940 году совсем случайно и начались гадания на кофейной гуще, откуда и куда шли несчастные, оказавшись в самом сердце Арктики у полуострова Таймыр в какие годы

случилась беда и какая нелегкая занесла их на каменный пуп, покрытый чахлой тундрой; на восток попадали христовенькие, или в запад? Откуда взялось столько денег и пушнины, всякой дорогови, украшений, одежды, мехов, богатого платья, иностранных портищ, английских сукон, которые на востоке в подъясачных землях юкагиров, ламутов и якутов некому было бы сбыть, – вещи ценные, видимо, людей прожиточных, а может, и знатного роду? Все ученые, что разбирались в редкой находке, сошлись на том, что походники плыли вдоль Таймыра в начале семнадцатого века, на триста лет раньше шведа Норденшельда, – для исторической науки открытие ошеломляющее.

Неразрешимых вопросов возникло множество, и объяснить их так и не смогли. Если двигались на восток промышленники Мангазеи, откуда столько пушнины оказалось на коче? Сами промыслили или взяли ясаком у самодинов Енисея? Песец в ту пору ещё мало занимал поморов-охотников и купцов, а соболь водился южнее диких отрогов Быррагана и спускаться к берегам океана, где бродили лишь стада диких оленей и семьи ошкуев, не было нужды. Но если попадали на запад от Лены мимо Таймыра, зачем тащиться с риском потерять в океане не только свою голову, но и меховую казну от якутских подъясачных. В Мангазее соболей огромные сборы в государевы кладовые от березовских самодинов и остяков, а в Восточной Сибири по займам и зимовьям сидят под казачьей охраной приёмщики – целовальники, куда служилые везут пушной ясак с Индигирки, Олекмы и Анадыри.

В находке на одном из островов Фаддея и в становье на заливе Симса были обнаружены более трёх тысяч серебряных монет времен матери государя Иоанна Грозного Елены Глинской, первого царя Иоанна Васильевича, сына его Феодора Ивановича, Бориса Годунова, компасы, солнечные часы, морской кортик с костяной ручкой, в оправленных медью ножнах из кожи, старинные нателные серебряные кресты эпохи великого князя Ивана Третьего, изящной ювелирнойковки с финифтью и драгоценными камнями, медные котлы и ещё многое из тех жалких останков сопревшего походного скарба, что сохранились под сугробами окатной морской гальки и плитами донной лещадии, не вытлело окончательно от дождей, снегов, студеных ветров-заморозников и солёной океанской волны, и, к счастью для науки, клад был пограблен частично азартными людьми, угодившими на место крушения раньше гидрографической экспедиции.

Академик А.П. Окладников с первого взгляда оценил бесценную находку как благословенный дар судьбы редкостного исторического значения, единственно сохранившийся осколок русской истории народного быта, который дождался новых людей, его можно пощупать, подержать в руках. Что-то знали ученые-толковники по архивным спискам и редким рисункам арабских путешественников, а тут как бы по мановению Христовой длани и волшебству вдруг всплыло из земли свидетельство в нетленном виде, как явленная живописная страница навсегда минувшей арктической жизни.

Особенную ценность представляли два ножа, найденных в заливе Симса, в крохотной хиже, рубленной из плавника. Рукояти были покрыты тончайшим резным узором и надписями славянской вязью. За триста лет письмо поистерлось, древние слова так и не могли разобрать ученые, как ни бились над разгадкой имён владельцев: то ли путники с Мурмана, то ли уроженцы Муромы из села Карачарова, принадлежащего тобольскому воеводе Сулешову. Были найдены на островах Фаддея компасы, солнечные часы и шахматы, искусно сработанные из мамонтовой (заморной) кости. Стоит упомянуть, что поморы на зверобойке, коротая полярную ночь в четыре месяца, увлекались шахматами. Их находили на станах Груманта, Матки, в зимовьях Мангазеи, Березова, полуострова Ямал, где в глубокой древности жил народ сиртя.

Ученые никак не могли взять в толк странного поведения неведомых путешественников, которые, не торгуя и не промысляя, добыли много соболей и везут украдкой с востока на запад, чтобы миновать таможни Мангазеи и Пустозерска, Окладниковой слободки и Холмогор, и весь меновой товар, который взят был в путь для торговли с юкагирами и якутами,

отчего-то везут обратно в свои чуланы и лари. Но куда-то делось судно – или в разбой попало и затонуло, или двинулось дальше, оставив на крохотном островке деньги и прибыльную гобину, которую можно обменять с кочевыми самодинами, избежавшими царских служивых. И вот всё небрежно кинуто, сопнуто ногою чуженина иль спрятано по расселинам, пригнужено сверху окатной галькой и каменными плитами.

Но привлекла особенное внимание ученых круглая бляха – литое бронзовое зеркало с изображением Кентавра (Китовраса). Об этом, наверное, стоит поразмышлять подробнее, ибо эта медаль вскрывает целые пласты мировой (и русской) истории. Подобная бляха с разным качеством литья в девятнадцатом веке встречалась в низовьях Оби, в раскопах захоронений хантов, остяков, самоедов, тунгусов, эвенков, ламутов, юкагиров, якутов, бурят, в могилах тех народов, которые не занимались литьём, они не знали долгое время меди, олова и железа. Олово привозили русские торговцы в обмен на пушнину. Но не находилось подобных зеркал у чукчей, коряков и амурских племен. Ковку по бронзе работали древняя чужь, скифы и сиртя, народы позднее куда-то пропавшие, оставившие в память по себе лишь «звериное» литьё и мелкую пластику. Столетия они копали медь по рекам Усть-Цильме, Пёзе, Печоре, Оби, на Урале, на Матке и на Канине, всю свою жизнь посвящали искусству, художественному (религиозному) образу, небесным божествам, сохраняя и охраняя духовный сосуд свой...

Кентавр на бронзовой медали, каким-то образом оказавшийся на островах Фаддея в семнадцатом веке, – это мифологическое, легендарное существо Древней Греции и Рима, перекочевавшее в культуру России и ставшее своим «парнем» в северной стране, погрузившейся в непролазные таёжные дебри. Особенно мифический зверь полюбился в Поморье, на моей родине. Его вышивали на полотенцах, скатертях, вязали на рукавицах и носках рядом с матерью-роженицей и свастикой, называли его Китоврасом. Каргопольская старушка Ульяна Бабкина лепила Китовраса из глины, обжигала в печи и вместе со свистульками продавала на ярмарках – и этим кормилась; никто из крестьян и архангельских мещан Китоврасу не дивился, а принимали за своего мужика. «Подумаешь, – говорили они, – каких только людей в миру не бывает... С такими-то ногами ему дивья бегать куда хошь». Я знал Ульяну Бабкину, но не хватило тогда у меня ума спросить, откуда она переняла сказочного чудного зверя. Её игрушки живут в музеях страны до сих пор, есть и новые рукодельницы, стряпают, вроде бы, тех же самых «китоврасов», но по чувству уже другие, с холодком сляпаны. Ульяна Бабкина мне напоминала видом и складом былинщицу-распевщицу Марьюшку Кривополенову, маленькую пригорблую певунью с Пинеги из-под Кевролы. Вот как бы две сестры, из одного помолла, одного теста. Только Ульяна жила на сорок лет позже Марьюшки, которую так высоко чтит за певческие таланты и великую национальную память словотворец из Нёноксы Борис Викторович Шергин, хранитель национального духа...

Помню тёмную изобку в три окна. Топится, потрескивая, русская печь, выскакивают на шесток березовые угольки, как зверушки, взлетают на бревенчатые стены блики багрового пламени, лисьими хвостами подметают темень по-за углы, а старушка в белом повойничке на крохотной головенке кудесит над куском глины... и хриплым голосом подгуживает сама себе: «Когда девчонке лет шашнадцать, то всяк старается обнять...»

Откуда кентавр оказался в глухой деревушке под Каргополом? Пути Господни неисповедимы. Но мы ведь тоже не знали, что тысячи лет тому назад на моей родине у моря Студеного паслись огромные стада мамонтов и их скрадывали саблезубые тигры. Выходит, что вся история человечества проходит мимо как волшебный сон, и она порою является к нам в сновидениях чарующими картинами.

В тринадцатом веке святитель Василий Новгородец навесил в Софийском соборе медные вызолоченные Васильевские ворота. На них были изображены сказочные полужвери-китоврасы. (Днем на свету это обычные люди и живут по-людски, а ночью – странные животные с телом жеребца, но головою человека.) Подобные китоврасы были и на паникадилах Софий-

ского собора. Китоврас поселился в красном углу под православными образами как русский национальный герой, противник царя Соломона. Об извечной борьбе рассказывает легендарная история:

«...Мудрый царь Соломон, желая отстроить вечный храм так, чтобы гранитного камня не касались железные орудия, посылает своего мудрого боярина к своему брату Китоврасу. Доставленный Китоврас удивляет царя Соломона мудрыми прозорливыми речами. Соломон молвил прибывшим гостям: “Ныне видел, яко сила наша человеческа и ваша сила боле нашей силы, яка аз яхт я”. Китоврас отвечает царю: “Аще хощеши видети силу мою, да соими с меня оружие сие и дажде ми жюковину (перстень) свою с руки, да видиши силу мою”». Когда просьба Китовраса была исполнена, «он простер крыло своё, ударил Соломона и заверже на конец земли обетованная» (в ад).

В другой повести семнадцатого века царь Китоврас похищает жену Соломона.

«Бысть во Иерусалиме царь Соломон и во граде Лукоморье царствует царь Китоврас; во дни царствует над людьми, а в нощи обращается зверем Китоврасом и царствует над зверьми, а по родству брат царю Соломону.

Посланец Китовраса некий волхв похищает жену Соломона, когда же Соломон является за нею в царство Китовраса, тот велит повесить своего брата. Повесть кончается победой Соломона над нечестивцем. Соломон приказывает повесить Китовраса в красную петлю, его жену в желтую, а волхва в лычную, людей Китоврасовых побить, а царство его огнем выпалить».

Бородатый кентавр на воротах Софийского собора, вскинувший одной рукою человека с короною на голове – и есть царь Китоврас, готовый забросить своего брата Соломона за край земли (в ад).

Нет братцы, той картины не передать, «талану» не хватит. Того небрежного удара кистью, отчего весь текст взволнуется и обворожит самую немую душу.

* * *

Становище в заливе Симса нашли не сразу, наткнулись на зимовьё случайно, когда гидрологи с транспорта «Якутия», потерпевшего крушение, собирали на берегу океана плавник на грядущее зимование, ещё не догадываясь, что их ждет впереди. В безлесной тундре эти изглоданные, измочаленные древесные трупья, единственные спасительные будущие дровишки, сплывшие в море по рекам и речушкам из диких суземков. Зимовьё походило на бугорок из морской обкатанной гальки, и, лишь когда вплотную подошли, собирая по заплеску дрова, вдруг увидели торчащие из камней трухлявые бревешки. Избенка изрядно истлела, сохранились лишь нижние окладные венцы, рубленные в угол, и останки каменной печуры. Это оказалось древнее охотничье зимовьё, ставленное второпях, из сырого плавника, и даже по виду хижины можно было представить в какую трагедию угодили неведомые путники. Сруб был не мошон, хотя болото рядом и мха полно: значит, зимовать не думали, а для лета и такой избенки достанет, чтобы спастись от ветра и дождя.

В житье за три века изрядно и, наверное, многожды хозяйничали белые медведи, любители пошариться в чужом поместье в поисках еды, песцы-крестоватики, тундряные мыши; но видно, что хижина срублена людьми «знаткими», рукастыми морскими ходоками, наверное, плававшими на Грумант, Матку и Ямал: стояла избёнка на высокой галечной косе, чтобы не замело снегами, отвернувшись входом от океана на северо-восток, спасаясь от студеных шквалистых ветров, дувших в зиму чаще всего с юго–запада. И поближе к плавнику, тлевшему по краю моря уже сотни лет. Крохотное охотничье становье, где в зимний сезон обычно обитали охотники и зверобои, топились по-черному, дым выходил в душник в стене и в распахнутую дверь; самое обычное промысловое житишко в шесть квадратов, где можно привычному к походной нужде человеку растянуть ноги; одни нары на двоих, в углу каменица, сложенная

из тяжелых гранитных плит, снаружи по нижнему венцу избенка засыпана мелкой серой галькой, занесенной на хрящеватый берег высокой прибойной волною, чтобы зимою не задувало от земли и напрасно не выносило тепло. В стороне от зимовья обломки нарт – полозья и копылья, медные котлы, резные кресты с древними титлами. Печура была без трубы, топились по-черному (кушная), как и все избы в деревнях Помезенья того времени, ибо хранили тепло, берегли дровишки (каждое полено) и потому закрывали выюшку рано, оттого часто угорали, хватив «смертельного винца». Помню, что с такой же экономией топили баню по-черному, щелястым полом и закопченным низким потолком. Подобная баенка была и в нашем огороде. Истопка на северах давалась очень тяжело, но каждую субботу обязательно мылись. Мезенки были «чистюли», это южнее (начиная от Вологды) своих баенок не имели, а мылись в русской печи, гольем забираясь в жаркое нутро, а после, вылезши на белый свет, сидели в бочке-сельдянке, иль тресковке, и отмокали бабы, вытурив мужиков вон из избы...

Возле лавки, на которой спали, видимо, двое путников, гидрографы в 1945 году нашли множество сопревших обрывков одежды, окуток, лоскутьев от рубаш и утиральников, лучковое сверло-коловорот, православные нагрудные кресты с резьбою по дереву, бусы. По тому, как всё было просто и экономно построено, понятно, что рубили хижу знатоки, бывальцы поморы-промышленники, знавшие топор и долото, не раз зимовавшие на островах и умевшие приготовиться, пострадать в долгую полярную ночь, но чтобы не околеть. Но, видимо, старуха-цинга подобрала хватких походников и с помощью сестер-навадниц уволокла в ямку...

Избенка поставлена с таким расчетом, чтобы и подальше от «матеры», и не шибко закидало обвальными снегами, и поближе к плавнику на заплесках – спасительному в обжорную зиму. Значит, нацелились коротать до весны, не убоившись хватких морозов.

Михайло Ломоносов с отрочества ходил с батькою по Гандвику (Белому морю), порой сам набирал артель и плавал за звериным промыслом к ближним островам (Медвежьему, Колгуеву, Соловецкому), не убоясь своенравного Скифского океана, – небольшого опыта прикопил, который после и пригодился, когда сбивал Большую арктическую экспедицию адмирала Чичагова. Ломоносов был видом детина ражий, «важливый», просторный в плечах, настоящий груманланин с пудовыми кулаками. Ломоносов писал о земляках: дескать, если помор попадает в трудные обстоятельства, а обратный путь в родные дома далёк и уже заосенело, зима близко, то промышленник выбирал заблаговременно гавань для зимовки, но если нет близко становища или занято место другими ходоками, то «старался устроить зимовьюшку из стоячего лесу, или плавнику, в ином годном заливчике, а буде нет глины, чтобы стяпать печь, то сложить камелек из дикого камня или устроить очаг посреди жила...»

Если представить, что промысловая артель шла из Мезени или Подвинья, то они достигли Таймыра в ту позднюю пору, когда на воле уже правила арктическая ночь и в ранней темени легко было налететь судном на каменистую коргу, или песчаный отмелок, угодить в крутой сувой, на шквал или вихорь, – да мало ли внезапных опасностей подстерегает охотника в океане. Тут, братцы мои, глаза да глазки нужны, чтобы не угодить впросак. Потому поморы всегда старались забежать в становище в светлую пору по осени, пока море ещё свободно ото льда, не спешит тороситься, нещадно зажимая судно в стамухах.

Вся провизия «утопла», довольствовались зимовщики мясом песцов, хотя русские православные груманлане белыми лисами брезговали, считали едой поганой, нечистой, а печень ядовитой. Старинный поморский устав подсказывал морякам, что мясо песцов – еда запретная. Но, голод не тетка, и, когда прижимает, уже невмочь терпеть, силы иссякают, и жизнь кончается, и ничего другого промыслить невозможно, нет ни снастей, ни сетей, ни невода, чтобы добыть моржа и наловить рыбы, тут уже не до поста, ешь, дорогой, что бог послал, да и глаза рыскают, чего бы на зуб положить. Кулемок, пастей (ловчего снаряда) у промышленников не было, да и своры собак с нартами негде взять, чтобы ездить и проверять ловушки на путике в тридцать-сорок вёрст; единственное ружьё с погнутым стволом осталось на острове

Фаддея, и, наверное, пока была на заплесках поедь (остатки пиршества ошкуча) песцы-крестоватики шатались возле моря, не пугаясь людей, которых прежде не видали, и мужики стреляли проходного песка «томарами» из луков, чтобы сберечь стрелы. В октябре зверь откочевал в тайгу, занорился до февраля по лесистым долинам рек, и тут к несчастным сиротам пришел голод. Пришла долгая полярная ночь, и к избенке с песнями и плясками прибыли на морском карбасе незваные гости, – старуха-цинга и её двенадцать красавиц сестер, прислужниц страшной смерти. Зимовщики, наверное, залегли в памороке, скоро теряя силы, когда мир полонила глухая арктическая ночь, закрутили метели, затосковали, скоро занедужели походники и один за другим отплыли в мир иной. Смерть настигла жестокая, безжалостная и похоронить покойника, хотя бы присыпать снегом, у второго страдальца уже не нашлось сил. Он так и лежал под порогом.

...Внутри избёнки валялось множество песцовых мослов. Среди пожухлых от древности желтых звериных костей гидрологи с транспорта «Якутия», севшего на каменистой корге возле островов Фаддея, нашли два выеденных изнутри человеческих черепа, а у поварни рядом с медным котлом обглоданную человеческую ногу. Одному из членов экспедиции вдруг «помстилось», что это нога якутки – «погромной» бабы, захваченной в плен с бою, которую сварил и съел спутник.

Около избёнки лежали присыпанные галькой, полуистлевшие походные чунки (или керёжа?), такие санки с кожаной заплечной вязкою у нас на Мезени водились в каждом подворье: на них возили с родника ушат с водою, дрова в баню, ребенка в детсад, захворавшего в больницу; охотники тащили в тайгу промысловый скарб, доставляли харч, снасти и одежку, когда брели пеши на Мурман шестьсот вёрст о край Белого моря по треску, на Канин за навагой; такие чунки (а не «керёжа», как на Пинеге и Олонце) и догнивали на Таймыре. Мезенцы, коих во множестве в семнадцатом веке съехало в Сибирь (ибо Ледяной океан усталился торосами и подводными стамухами, а берега осадили частые ропаки и много поморов ушло на дно), и пользовались на таёжных кулёмниках подобным свычным и легким транспортом. Охотничьи широкие лыжи-кунды, подбитые камусами, содранными с лосиных или оленьих ног, походная деревянная лопатка с длинным ратовищем (чтобы бороться со снегом) нож на опояске, замшевый мешочек с огнивом и трутоношей за пазухой, кожаная киса с харчом, пищаль с огневым зельем, да вот эти саночки – вся охотничья «стряпня» на таёжном путике в пятьдесят-сто вёрст, в обоих концах которого поджидали хозяина настуженные зимовейки, чтобы мозглая ночь не застала в дороге, чтобы не околевать на «сендухе» (под елкой у костра).

У самого входа валялись кем-то небрежно брошенные, но ценные по тем временам большие медные котлы, главный меновой товар торговцев с чукчами, якутами, юкагирами, самодийцами. Тут же ученые нашли и десять ножей, для помора самую необходимую вещь, без которой на охоте нет жизни, с ними промысловики никогда не расставались (я по себе знаю, ибо когда поступил слесарем технадзора на завод, то первейшая забота – выковать себе нож, закалить его и сделать черен: гордостью была наборная, из плексиглаза, рукоять. Помню, что нож в ножнах постоянно висел у меня на опояске, это была необходимая часть моей профессии, и когда шел с работы и по пути приворачивал в замасленной спецовке на танцы в поселковый парк, то ножа не прятал, но постоянно держал при себе... как бы гордясь своим мужицким видом).

«Нож, как ноготь, – внушали старшие мужики-работяги, – всегда помни, что друг при тебе, но никогда за него без крайней нужды не хватайся. Будет больно».

Ходить без ножа считалось зазорным, стыдным. Кто ходит без ножа, – помню присловье, – того соседские девки засмеют, любить не будут. Эти нравы на Севере из семнадцатого века перекочевали уже в наши годы. Церквей не было, попов не видали, лба не осеяли щепотью, но бесхитростная душа была спокойной, трезвой, православной.

А тут, братцы мои, на краю света ножи валялись в зимовейке как мусор. Это разве не диво? Подобное даже представить трудно, что случилось сходами, какая беда вдруг

настигла? И если сиротскую изобку шерстили пришедшие варнаки из местных племен, то почему они-то не подобрали ножи, не прихватили на собачьи нарты трубы английского сукна, кафтаны и шубы, резные нательные кресты, цветной бисер на девичью шею и мелкое серебро на женскую грудь, но что особенно необычно, что не прихватили валявшиеся по тундре медные котлы, имевшие у юкагиров и ламутов огромную ценность в быту. За них отдавали, даже не торгуясь, столько соболей, сколько влезало в котел. За эти меновые меха на материке можно было приобрести большое имение, дом с землей и скотиною... Тогда соболь на мировом рынке был дороже золота...

Вполне возможно, что плыли на морском коче мезенские гулящие парни, норовистые, удалые, по молодости лет бесшабашные, бежавшие из Якутска, и вот возле Таймыра угодили в беду. А награбленного добра не жалко, это дело наживное, тут как бы шкуру свою спасти. Северянину с Помезенья подобную картину представить легко, ибо за тысячу лет поморский быт, да и русская «говоря» мало в чем переменились.

* * *

Но ученые (географы, гидрографы, филологи и археологи) сразу сошлись в мотивах трагедии: дескать, поморский коч направляется на восток в семнадцатом веке, когда Россия бурно расширялась; наискивая границы государства, Москва подбирала под свою власть всё, что безнадзорно, и выставляла свой флаг. Шел мировой передел земли, и каждое племя торопилось устроить своё будущее, чтобы не затеряться и не засохнуть среди других народов; кто не успел ухватить своё, тот пропал безвозвратно. Тёплые благодатные края Новой Америки, Китая, Индии скоро захватили атлантисты, пользуясь грубой силой, попирая человеческие добрые чувства.

С протестантами, верящими в «золотую куклу», спорить было бесполезно, и северянам оставались лишь те суровые, забытые Господом земли, которые нам были родными, а для изнеженных католиков – хуже дикой каторги. И пока европейцы подсчитывали барыши от торговли рабами, русские крестьяне самовольно, спасая свою православную веру, невзирая на столичный окрик, двинулись суземками и реками к Тихому океану на свои нищие гроши, на кочмарах и шняках, сшитых из досок вересовым вичьем, не ожидая, когда проснётся кремлевский двор, опережая десятки варварских племен, которые уже спускались с Саян и Алтая, гонимые с гор китайцами, скифами и монголами... Поморы успели и героическими усилиями подверстали Сибирь и Дальний Восток под русского царя. Это был выдающийся подвиг поморов (моих земляков), севших у Ледяного океана в доме своих родичей – скифов, чуди, сарматов и лукоморцев. Вот почему так однообразно размышляли русские географы, ибо им тогда (в 1940 году, когда случайно натолкнулись на древнюю стоянку) очень хотелось, чтобы первыми прошли вдоль берегов Таймыра не голландцы Норденшельда, а русские мореходцы.

Но, увы, изучавшие историю по летописям и архивным запискам, они не могли (не желали) прозорливо, с долей фантазии и простой логики всматриваться в туманную даль позади и оттуда добывать просверки истины, но переписывали друг у друга докучливый бред: дескать, великий народ – чудь белоглазая – разом ушел в землю, а следом за ним и лукоморцы: но история, как оказалось, вывязывается не гусиным пером вязкой слюною крючкотворов, но замыслами Господа, которому простому смертному не возразить. И потому, сколько ни выстраивай свою мысленную конструкцию, но факты упираются, ершатся и восстают всеми острыми углами против ученых схем. Ну, предположим, кочмара шла на Восток торговать с племенами на Лене и Индигирке, налетела на каменистую корожку и с пробитым днищем медленно опустилась на галечный отмелок или увязла в ранних ледяных стамухах, зажата со всех сторон у островов Фаддея; иль толкнуло кочу порывом заморозника на песчаную косу и затем штормо-

вой волною положило боком на костогор, дозволив морякам выгрузиться на неведомом острове.

В семнадцатом веке денежное жалованье казакам и стрельцам было незавидное – пять рублей в год, но и этих-то денег служивому трудно было получить, и казаки постоянно слали слезницы к московскому царю Алексею Михайловичу, чтобы тобольский воевода Головин выплатил жалованье: дескать, совсем обездолились, будучи в походах, обнищали и обремкались одеждою и сапожонки поистрепались. Но и этих положенных рублей не выдавали годами, кроме жалованья хлебом и солью: Семен Иванович Дежнев не получал денег двадцать пять лет, и те походы к инородцам за ясаком надо было поднимать на свои копейки, беря кабальный заем у знакомых промышленников, обязуясь выплатить сполна по уговору к сроку. Собирая команду на Анадырь-реку Дежнев занял по кабальной записи пятнадцать рублей, но в смертельном походе на Тихий океан через пролив Аниан едва не погиб, в срок отдать не смог, и ему грозила тюрьма...

Часто случалось, что, войдя в кабалу к торговцу, в походе поджимала недоля, иль забирало к себе море, иль разбивало судно в щепы штормовой волною и льдами. А сроки отдачи долга поджимали, и дело грозило судом и тюрьмою. Хотя на Руси процента с займа не признавали, деньги в рост для выгоды не отдавали, – сколько занял в долг у человека, столько и верни; но зачастую отдать по кабальной записи никак не выходило, и тогда казак иль попадал в долговую яму, или под расправу кнутовьем в съезжую избу...

Деньги, каждый грошник, были в старые времена в большой цене, и деревенское хозяйство на материке вместе с избой, землей и скотиной стоило пять-восемь рублей. А тут в зимовье на краю света в заливе Симса и на острове Фаддея в россыпях окатной гальки и под гранитными плитами валялись четыре тысячи безнадзорных серебряных монет разного достоинства – жалованье казака-десятника за двадцать лет. Но кроме того выдавали хлебное жалованье мукою и солью, чтобы служивый вовсе не забывал с голода.

До знаменитого похода на Анадырь, когда был открыт пролив Аниан (проход из Ледяного океана в Тихий), Семен Иванович Дежнев состоял в браке с якуткой Абакаядой Сичю. Жену крестили в церкви Якутска и дали имя Абакан. У них родился сын Любим, который, выросши и заматерев, тоже поверстался в казаки на царскую службу по Тихому океану. Имел Дежнев и небольшое хозяйство: корову с теленком, которых оставлял на попечение якута Манякуя. (Нынче в Якутске поставлен памятник жене Дежнева Абакане и её сыну Любиму.)

Когда служивый надолго покидал дом, уходя с командою за ясаком, хлебное жалованье обычно получала его семья. Дежнев ушел на Анадырь, в больших лишениях потеряв семь кочей и 78 казаков из девяноста походников, поставил острожек в неприятельском окружении и три года собирал ясак с иноземцев, рискуя жизнью, вынужден несколько лет прослужить, пока-то сменил его мезенец родом, десятник-картограф Курбат Афанасьевич Иванов, уже знаменитый к тому времени землепроходец. Но Дежнев к якутке Абакан не вернулся, сошелся с Капитолиной Архиповой. Уже будучи казачьим атаманом, дома Семен Иванович бывал редко, чаще всего в походах по северам. Сохранилось челобитье его супруги Капитолины к царю Алексею Михайловичу, где «...женинка Дежнева просит в оклад её мужа дать соляное жалованье...».

* * *

Гидрографы, изучая клад, уперлись на мысли, что судно шло из Мангазеи на восток в те годы, когда на воеводстве в Тобольске сидел князь Сулешов, уроженец Крыма, достойно проявивший себя в годы смут в битвах с ляхами. Он не только управлял гигантской землею, равной Европе, но и вел торговлю в Сибири и мог снарядить судно на восток.

Но если коч двигался на восток и в 13 верстах от Ледяного мыса (Челюскина) попал в разбой, так почему спасшиеся промышленники потянулись с кережкой, груженной скарбом, на запад, остановились у залива Симса в пятнадцати верстах от места крушения и решили зимовать. Срубили хижину, в углу поставили печуру из морской лещад, навесили входную дверь в сторону северо-запада. Но на морском коче команда от десяти до пятнадцати артельщиков, или покрутчиков, всё зависит от того, кому принадлежит посудина. Если коча с ровдужным парусом кормщика из местных, то он сам набирает мужиков в артель и на промысел идут в равных паях. Если же у кочи или лодьи хозяином купец на свои деньги снаряжает поход, то в команде идут наемные покрутчики и каждому работнику богатыня платит из положенной доли.

Если поморы скрылись из Якутска в неизвестную сторону, захватив морское торговое судно и стрелебное оружие, наверное, направились из чужбинки на родину, то потерпев недолю у островов Фаддея, они могли завздорить, каждый запросил свою часть добычи, полагаясь лишь на себя и свой «талан». И как порою случалось на промыслах, «гуляющие» взбунтовались (или опились норвежского рому из запасов хозяина судна), принялись булгачить, тут нашелся закоперщик, всю вину за крушение коча, наверное, положили на кормщика и подкормщика, свезли на карбасе в залив Симса и оставили там бедолаг, уверенные, что несчастные скоро отдадут богу душу. И чтобы ускорить их конец, не оставили им пищаль, луки и боевые стрелы, кулёмок и пастей для охоты на песцов, сетей для ловли белорыбицы; а прочие смутьяны, или часть ухорезов, двинулись сухопутьем к Хатанге мимо каменных нагромождений Бырранга, обходя стороною «землю мертвых».

Трудно объяснить, почему они бежали с острова в такой панике, словно за ними гналась нечистая сила с гранитного Бырранга, пыталась насильно залучить к себе и пожрать, с ещё живых содравши кожу? Покинули острова Фаддея, даже не взяв с собою самое необходимое, хотя впереди ждали четыре месяца изнурительной полярной ночи до половины февраля и жаркие встречи с двенадцатью цинготными красавицами, очень жадными до молодого мужика. Может, молодецкое сознание снова проснулось в покрутчиках и захотелось побузить на Анабаре-реке, откуда царь не достанет к палачу и боярские дети не ожгут кнутовьем? А может, опились белым вином до горячки, изгнав на матёрую землю кормщика, ограбив хозяина кочи, иль купец обещал с оплатою, когда они тащили насадку с солью вверх по Лене, и обманул, сучий потрох? Иль сбесились с досады, что воевода Мусин–Пушкин отнял прибыльный ясак соболями и присвоил себе? Иль сыскался атаманец, имевший связи с Волгой, посуливший помочь Степану Разину вольными людьми, и вот сманил парней, а они, захмелев от речей коновода, запросились на казачье гульбище, где можно возвеселиться, помахать кривой сабелюкой.

Но странно и неподвластно уму, что двое отверженных зимовщиков потянули на кережке огромные медные котлы за пятнадцать вёрст, но оставили на острове серебряные деньги, ради которых двинулись в Сибирь на добровольное страдание. Пораскидали пушнину, ружье, боченок пороха, свинец, пулелейку, пули, сырой свинец, промышленные снасти – сети и невод, меновой товар – сукна, бусы, гвозди, скобы, полукафтанье, шубы, бабы ухорошки, православные кресты искусной работы с финифтью и драгоценными камнями, компасы и солнечные часы, домашнюю утварь, охотничьи ножи, с которыми обычно помор не разлучался и ночью, ибо на промысле в океане на ледяных островах ошкуй выставлял оконце и выламывал дверь в зимовье, когда оголодает... Хотя серебряные деньги были поделены поровну. На островах Фаддея гидрографы нашли 1353 монеты, а в заливе Симса 1971 монету. Были оставлены на острове боевые стрелы, луки и налучия, зимний сряд. Земля на Матёре была мерзлая, лопаты не брали, а потому гидрологи, сыскивая для науки неожиданный клад, рубили глину, мшаник и гальку топорами и невольно повредили много артефактов небывалого по ценности исторического схрона. Много тут было необъяснимых странностей. Невольно рисуется в воображении трагическая картина достойная пера Шекспира, как покрутчики взбунтовались в преддверии ада и, не желая убивать соплеменников, вывезли на карбасе на матерый берег и оставили там

умирать, обрекая на долгие мучения, только снабдив топорами, напарьей, котлами и сковородкой, чтобы кормщик с подкормщиком собрали на скорую руку уже впотемни для зимовки жалкую избёнку... А что случилось с теми сибирскими походниками, кто по Лене и Индигирке грабил кочмары и лодьи, никто нам никогда не расскажет. Конечно, бурлачили на Лене и Индигирке парни закоренелые, на своей шкуре испытавшие лихо на Матке и Груманте, на Шараповых кошках; слабых наивных отроков с тощей куриной шеей, ещё не нюхавших пороха, мать с отцом не отпустили бы от родного порога; это были растущие молодые рыцари из новой казачьей отрасли Ивана Васильевича Грозного, о ком на скифских берегах Ледяного океана никогда не потухали песни и сказы. Если мезенских мальчишек батки брали уже с двенадцати лет на зимовки на Грумант и Матку, на их глазах погибали зверобой под жестокой лапой ошкуя, при них срывали из морского карбаска в океан ледяное тело погибшего промышленника, то можно из этих картин уже представить натуру помора-казачка, воевавшего огромные земли Востока под шапку московского царя. Это были русские скифы, чей характер ставили Грумант, Матка и ледяные глубины Скифского океана, не имеющего пределов.

Марфа Крюкова, былинщица из Зимней Золотицы, в своём сказании «О Груманте» пела и об этих парнишонках, что с зыбки, качаясь на очепе, уже венчались с достославным Белым морем и грядущей судьбою.

...«Обручев не исключал, что какая-то часть людей из залива Симса добралась до самодинского табора и спаслась, если не перебили её энцы и юкагиры». «Историк Михаил Белов отодвинул экспедицию на 67 лет вперед (1686 г.) и предложил считать найденное становище остатками зимовья Ивана Толстоухова, пропавшего в Арктике в эти же годы».

Голландский географ Николаас Витсен в своей книге «Северная и Восточная Тартария», вышедшей в 1692 году, сообщает, что шесть лет назад вышли из Туруханска вниз по Енисею шестьдесят человек на трёх кочах, под началом дворянина Ивана Толстоухова с намерением обогнуть Ледяной Нос (Таймыр) и выйти к Лене, но больше никто пропавших не видел. Хотя следы зимовок Толстоухова известный путешественник Федор Минин нашел на берегу Пясинского залива и доложил о находке в Петербург в Адмирал-коллегию.

Гидролог Бурылин сделал вывод, что в семнадцатом веке плавать мимо Таймыра было за обыкновение. Он предположил, что три коча вышли из устья Оби с меновым товаром (медные котлы, украшения, серебро), чтобы торговать соболями у якутов, эвенков, юкагиров, но у Таймыра судно омелилось, часть команды, видимо, осталась на островах Фаддея доставать изолдов коч, иные из команды перешли по льду к заливу Симса, построили зимовье и стали жить. Для мезенского помора, пожалуй, эта оказия за обыкновение и к ней поморы всегда внутренне готовы, ибо все ходят с Богом в душе; оветными крестами уставлено всё лукоморье Ледяного Океана от Груманта до Табина (мыса Дежнева); безымянными русскими костями за многие столетия умощено дно арктических морей океана, на месте которых был когда-то неведомый рай. Можно предположить, что много мезенских мужественных зверобоев по смерти живут в раю... И на сотнях, тысячах полярных островов сокрыты в гранитах жальники безвременно уснувших молодых мужиков. И только случай помогает наткнуться на потаённые останки. Так на острове Котельном Ново-Сибирского архипелага на северо-западном берегу были обнаружены ветхие останки зимовья, могила, возле лежали копьё и две железные стрелы, нарты с ляжками и крест с надписью, которую гидрологи не могли прочесть. Кости неизвестного человека были беспорядочно разбросаны, видимо, хозяевал ошкуй, вырыв тело из ямки, а остатки человечины выскабливали лемминги и песцы.

...В семнадцатом веке, когда вся Россия упала в разор и голод, много гулящего молодого народу, полного сил, подалось в Сибирь. Бежали от удавки, накинута́й Алексеем Михайловичем на шею крестьянина, от церковных реформ Никона, от двойных-тройных налогов императора Петра – первого антихриста, скинувшегося под протестантство, сбросившего церковные колокола и нарушившего исторически сложившийся быт русского человека. Петр Пер-

вый – человек-миф, сочиненный придворными, человек-легенда, притащенный раболепными людьми в наше время, та самая сказка, в которой, кроме намёка, нет ни слова правды, удивительный тип беззастенчивого царя-деспота, поправшего всё национальное, среди чего, казалось бы, вырос; стоптавшего под ноги совесть, веру и честь, те главнейшие качества натуры, чему из веку было предано русское сердце. Вот съездил ретивый молодец в протестантский запад, попил в таверне тамошнего пива, прельстился кощунствами и бесстыдными вольностями, возлюбил вино, гулящих женщин и, вернувшись на родину, стал крушить всё, как пьяный медведь в посудной лавке, – такой его охватил душевный недуг. Вроде бы после опамятовался, спохватился напоследях, но ничего уже не мог поправить; помирать, грешному, пора...

Невольно пришлось вернуться к характеру императора, ибо большего зла, чем Петр Первый, не принес государству ни один русский царь...

Ну как, братцы мои, раскопать истинную историю, случившуюся триста лет назад, когда мимо её промахнулись все летописи, бывальщины и слухи, и если бы случайно не наткнулись гидрографы с судна «Норд» в 1940 году на раскиданные по одному из островов Фаддея пожитки, так бы этой трагедии никто бы и не знал. «А чего не знаешь, о том не жалеешь», – говорит крестьянская притча. Но тут совпали драматический эпос покорения Ледяного Океана, полузабытая жизнь древних русских поморов, героический подвиг Норденшельда, восславивший шведов, норвегов и датчан, – и страницы былого, легендарного, как бы приподнялись из праха и заявили о себе...

Повторюсь: всякого гулящего и охочего до поживы русского народу кинулось в семнадцатом веке в Сибирь, даже не сотни, а десятки тысяч норовистых, часто непокорных кочующих крестьян. Народная стихия вскипела и пролилась через край. Побежали на Восток, сломя голову, безрассудные казачата, та молодяжка, кому в дымной поморской избе под гнетом отца-матери жизнь хуже горькой редьки; дюжие мужики, что метили в бурлаки, зная, что в Сибири понадобится лешевая сила, чтобы волочить по рекам через перекаты, пороги и каменистые переборы купеческие и государевы барки, баржи, насады, шняки, кочи и лодьи со всяким съестным и шмудочным товаром; нужны плотники, кузнецы, умельцы шить кочи, всякую мелкую речную посуду, без которой на Востоке край, охотники и рыбаки, крестьяне-копорушники семьями побежали от бесхлебья. Их вдруг оказалось так много, помогающих воли и простора, богатой земли, что Север и Центральная Россия вполнину обезлюдели, и царь Петр приказал со всей строгостью отлавливать бегунков и под страхом сурового наказания ворачивать в родные деревнюшки, ибо некому стало платить подати и царская казна запустошилась. А тут ещё строительство Петербурга и нового флота просило капитала, да и народ повымер на тех тяжких работах вчетверо, крестьянская пашенка запустошилась вконец и пришла в полную негодность. Несчастный народ восплакал, просил царя польготить, подождать чуток, дать опериться на новом житье, ибо старое имение полностью захирело, клюнуло носом, да и земля заросла чащинником и нет тех денег, чтобы покрыть дорогу и вернуться на родину, где никто не ждёт, и привести житишко в порядок. Но Пётр, черствый сердцем, не видел и не слышал русского мужика, презирая его даже за убогий внешний вид, за смиренность, кудлатую бороду и стихийную скрытность натуры, от которой никогда не знаешь чего ждать...

От горестного плача, что выплеснулся по Руси, у кого хочешь голова пойдет кругом, – всеобщие протори и истери, которые нечем покрыть, анархист Никон, как листьяжный пенёк, водрузился в церкви и похерил тысячелетнюю православную веру времен Андрея Первозванного. И возникла перед взором картина, будто вся Русь кинулась наперегонки незнамо куда; вот и господа побежали в запад по примеру императора, вроде бы питаться науками, а на самом деле, покинув имения на волю приказчика и старосты, прожигали присланное золотишко самым шальным образом, и не только вскоре позабыли отечество, но и отказались от родного языка, на котором тысячи лет говорили их предки.

...Были, конечно, средь пришлых покорителей Сибири и любознательные мужики, с пылающим романтическим сердцем, и предприимчивые, готовые разбогатеть на новой хлебной ниве, и государственные люди, пошедшие на Восток, чтобы послужить отечеству и царю-батюшке; проходимцы, сутяги, ловкачи и барышники, кто ржавый «барошный» гвоздь выдают за чудную дорогую находку: простые бродяги-псаломщики, калики перехожие, прошаки и натурастые разбойники, всегда готовые подобрать всё, что плохо лежит. А тем более, когда нужда заела ленских казаков, жалованья давно не видали, – иль царь зажимал, иль подданный его, якутский воевода Мусин–Пушкин, «схитил» себе под подушку.

И загорячились служивые, вышли из-под власти, подогретенные слухами, что на Руси неспокойно и донские мужики плавают за дуваном «к поганым» и на том грабеже весело прожигают жизнь. Вот и на Лене завелись свои охотники «покудесить», пограбить ясачный народишко, купцов и вольных промышленников, кто, обходя законы, прибирают пушнину в свою кошулю, избегая целовальников и таможи.

...Вот пинежанин Герасим Анкудинов повадился зорить чужие кочи, привязался к Дежневу, суля всяких пакостей, стал сбивать Семена Ивановича с места целовальника, пошел наперебой, покушаясь на его почетную должность, и если Дежнев сулил воеводе собрать двести пятьдесят соболей с ясачных, то Герасим Анкудинов пообещал взять ясак на двадцать соболей больше. Начался торг, Дежневу пришлось повышать сбор ещё на тридцать мехов. Целовальник послал в съезжую избу жалобу: дескать, Анкудинова с собою в поход не возьмет, ибо он заведомый вор и разбойник, шалует на путях, грабит проходящих купцов и промышленников, отбирает у них товар. Но эту ябеду воевода Мусин-Пушкин оставил без внимания, ибо ему было выгодно, чтобы казаки старались на государеву казну, а если вздорят меж собою, атаманят, то воеводам от этого спора свычно и доходно, ибо такой порядок ведется в Сибири из веку, и в этих стычках сам Господь стоит где-то осторонь и не протягивает жалостную руку правды...

Анкудинов, которого Дежнев так и не взял в экспедицию через пролив Аниан, всё-таки увязался следом, и его морской коч пошел позади семи судов земляка из Мезенской волости, но был разбит в большом шторме, а команду Анкудинова выбросило на костогор. Дежнев отказался принимать к себе терпящих бедствие, их подобрал холмогорский приказчик Федот Алексеевич Попов... Проливом Аниан мимо легендарного мыса Табин казаки прошли, но попали под очередной заряд ветра-заморозника, паруса схлопнулись от «противняка», кочи потеряли управление, стало крутить в железных воротах пролива, мореходцы, теряя суда и казаков, едва протиснулись в Тихий океан. Кочи раскидало, и не поймешь толком, где Америка с зубатыми эскимосами, а где Азия с чухчами. Коч Анкудинова и Попова разбойный ветер выкинул на Камчатку, где и погибли от цинги выдающиеся груманлане через два года.

Московский купец Усов, собиравший экспедицию Попова из Нижнеколымского острожка дальше на восток в поисках соболя и моржового зуба, не имея от него вестей, подал на приказчика в суд, чтобы тот вернул кабальные потраты в тысячу рублей. Промышленника из Холмогор Федота Алексеева сына Попова, вместе с Семеном Дежневым открывшим пролив Аниан, искали московские власти на Востоке Сибири как беглого преступника. В это время холмогорец Попов умирал с пинежанином Анкудиновым от цинги на северном берегу Камчатки, куда выкинуло их кочу ураганом «борой». Донесения целовальника Дежнева, написанные рукою походного писаря, плесневели в архивах Якутска сто лет, пока-то на них случайно наткнулся питерский немец академик Миллер, лютый враг Ломоносова, доложил о подвиге Дежнева императрице Елизавете Петровне и опубликовал в академических ведомостях как часть научной работы о Сибири. Так для России открылась правда о великих деяниях крестьянина Мезенской волости Семена Ивановича Дежнева с речки Пинежки.

В конце семнадцатого века воеводой в Мезенской волости (в Кевроле и Окладниковой слободе) служил Афанасий Пашков, решительный мужественный русский боярин, воевавший бурят, монголов и китайцев, от верховьев Енисея грозно приближаясь к Амуру, перенося

неимоверные житейские напасти. Войско редело от голода, стужи и нужи и негде было добыть горсть мучицы, чтобы состряпать на костре житенный колобок. А многие стрельцы и казаки, как было принято у кочевников во всём мире, брели, куда глаза глядят, и следом, увязавшись за благоверными, с муками и плачем попадали их супружницы с малыми детьми, чтобы на жирных пустынных землях Сибири вспахать пашенку и зажить в своей избе во спокойе.

...В обозе воеводы Пашкова ехала в возке с кожаным фартуком и его супруга с маленьким сыном, мужественная религиозная полячка, искренне принявшая православие; следом месили снег розвальни с семьёй Аввакума. Сам протопоп брел из последних сил, как в забытьи, уцепясь рукою за обледенелый наклесток саней, проклиная в заиндевелые усы этого «диавола» Пашкова, которого никакая усталость не берёт. Уже много похоронили стрельцов, отряд таял, могилами отмечая путь московской команды, но суровый Пашков никакой жалостью не отогревал сердце, не брал в расчёт милость, гнал военный отряд бездорожицей вперёд через сузёмки и гранитные гольцы, обледенелые переграды, чтобы исполнить царёв наказ, не бередил напрасной жалостью сердце, видя, как его воям тяжело, их последние силы угасают, а этот уросливый вредный попишко точит и кусает за лядвии, идет впоперечку и нет с ним никакого согласия. Пашков понимал: Москва далеко, помощи не дозваться, но дай войску слабину, останови в полпути, чтобы затеять острожек и остаться в пустом месте до весны, и его отряд, окруженный бурятами, монголами и китайцами, скоро обезволится, обессилеет перед неуступчивой стаей черных вранов, источится в землю, как вешний снег, и пропадет от бесхлебья и жалости по себе родному. Пашков, не прискакивая на лошадку, которую следом вел стремянный, показывал пищальникам пример; боярин не устраивал богатых столов в своём шатре, а жил той же скудной поститвой, как и его солдаты, десятники, пятидесятники, сотники и боярские дети... И ухоронясь, не поваживал сытной едой себя и свою семью. А супруга Пашкова делилась с женою Аввакума последним окрайком хлебины.

Но Аввакум-то, увы, не знал про урок, заданный Пашкову царём, и принимал поведение служивого за боярскую дурь, за Никонов беспощадный наказ струнить и не давать потачки своевольному попу: он пытался умягчить Афанасия евангельскими наставлениями и пророческими окриками, и тем только больший вызывал на себя гнев; Аввакум упорно спасал душу Пашкова, донимал воеводу в неимоверно тяжком сибирском походе: дескать, смирись, окаянный, пока не пришел за тобою дьяволей слуга. Вот там, безмозглый пёс, – кричал протопоп и вздымал корявый перст в небеса, – сыщется и на тебя грозная управа..! Кричал, вызывая у воеводы Пашкова, отвечающего за жизнь воинского отряда, невольный гнев и такую сердечную жесточь, что боярин приказывал сутыристого, вздорного попишку немедленно тащить в студеную темничку и ковать в железа...

«Гордоус» Аввакум не понимал и не мог знать, что его судьба неразлучно повязана с Пашковым до последних земных дней, но и Афанасий Пашков тоже не мог проникнуть взглядом в темень грядущих лет, что по божьему уроку окажется воеводой в Мезенской волости, построит церковь в деревушке Верколе в память отроку Артемию, нетленные мощи которого будут признаны святыми и спасут от неминуемой смерти тяжело больного сына Афанасия Пашкова. В то время, когда бунташный Аввакум воевал с царём Алексеем Михайловичем, рассылал подметные письма по Руси, Пашков, словно повязанный с протопопом неразрывной вервью, строил храм над могилою отрока Артемия, пораженного молоньей на берегу реки Пинежки, напротив деревеньки Веркола.

Удивительно, но даже огромные пространства Востока не смогли раскидать людей, таких вроде бы крохотных в безмерных сибирских землях, которые ещё лишь предстояло разглядеть в подробностях и назвать Русью.

В то время когда боярин Афанасий Пашков торил с войском дорогу по верховьям великих рек (Лены и Амура), пинежанин Мезенской волости Михаил Стадухин, что верстался в казаки в Тобольске ранее Дежнева, уже считался неуступчивым, жестоким ясачником отчаян-

ной храбрости, вступал в бесконечные стычки не только с туземцами, но и со своими мезенскими земляками, искал путей по Ледяному океану, собирал лукоморье под державную руку, – это было царство Кончи, потомка Чингисхана. Народ, которым правил Кончи, жил на просторных равнинах в долинах алтайских (скифских) гор. Как писал путешественник Марко Поло, во владениях чингизидов было много коней, быков, верблюдов и овец. Эти люди не знали хлеба, ели только мясо, во владениях Кончи водились белые медведи, черные лисицы, соболи, горностаи и дикие ослы. «Но в царстве Кончи была земля, – пишет Сергей Марков, – где нельзя было коню пройти по льду и гиблым трясинам, в тех местах на тысячу верст устроили тринадцать стоянок и на каждой держали по сорок рослых сильных собак величиной с теленка. Запрягали шестерку таких псов в сани, и собаки мчали до следующего яма, где ждет следующая свора для царского гонца. Эту гиблую страну одолевали за две недели. На север от царства Кончи лежит страна Тьмы. “Тут живут рослые белокожие люди, добытчики драгоценных мехов, – писали арабские путешественники. – Россия примыкает одной стороной к стране Тьмы”». Это и был неприступный Таймыр, самое северное зловещее место на всей земле, возле которого и потерпел крушение в семнадцатом веке, зажатый торосами, неведомый коч...

У всех мезенских парней морская жизнь началась с морских путей с 12–14 лет. Дежнев родился ближе к океану, чем Стадухин и Анкудинов, наверное потому раньше запоходил по морям, но поверстался на казацкую службу позднее. Когда Стадухин уже плывал на Яну и Алазейку, Дежнев был ещё отроком и на малом коче ходил с отцом на зверобойку, потом отправились с отцом на Соловки с ежегодными дарами от поморов. Наверное, семья Дежневых была молитвенная, и та кротость и спокойствие, которые приносят русское правоверие, были укоренены в душе Дежнева, и позднее эти качества не раз отмечались в послужных отписках в воеводскую канцелярию – надежность, честность, миролюбие, покладистость, умение самые спорные дела решать без крови. В семнадцать лет Семейко Дежнев поступил матросом на судно богатого купца Воскобойникова и стал плавать с грузами в Мангазею, обстрогавшую его натуру. Ведь море байбаков и растяпистых людей, кто жуёт собственные сопли, не любит, и там, в спрятанном от людей новом острожке в Обской губе, Дежнев, наверное, задружился с Михайлой Стадухиным, который был лет на пять постарше и плывал по Лене; а может, по его совету и поверстался в казаки под государеву руку. Парни-то всё лихие, «оторви да брось», в заветерье не прячутся, считая на уме выгоду. Но когда Стадухин уже был пятидесятником, Дежнев служил простым казаком в команде Петра Бекетова. Собственно, с этого 38 года и до самой смерти продолжалась неуступчивая дружба двух пинежан-мезенцев, больше напоминающая раздорицу, где никоторый не хотел уступить. Дежнев получил назначение в Якутск и следующим годом впервые отправлен на Вилюй для сбора ясака, где примирил два якутских рода и склонил к уплате ясака на речках Татта и Амча воинственного князя племени кангалесов Сахея... Это лишь в официальной истории пишется, как с любовью и превеликой охотой сибирские племена склонились под кремлевского властелина. На самом-то деле покорение земель, населенных сотнями племен, мечтающих о воле и свободе, конечно же с превеликой неохотой прощались с ускользающей природной жизнью, где прежде правила десница бога Нумы...

В том же году Семен Иванович взял в жены якутку Абакаяду, дочь тойона Онакая, которая, по легенде, принесла могучему русаку сына Любима...

Среди тысяч гулящего народу, что трудился, воевал, не жалея сил, озоровал на просторах Сибири, Семен Иванович Дежнев не потерялся за спинами дерзких поморцев, но показал свою сметку, промышленную удачу и умение ладить с людьми разного достоинства и дикого племени, которое возникало вроде бы ниоткуда и вдруг мгновенно сбивалось в решительное войско. Они не отдавали главу рода в аманаты, но цепко держались за своего главного мужика, любили и почитали, не жалея даже собственной жизни ради бесценного здоровья своего князья. Зарубали свой острожек напротив казачьего, куда хоронились в засаду сотни яку-

тов, навастривали против «урусов» свои ножи, выцеливали стрелы, десять-двадцать якутских мужиков на одного казака, и надо было затаивать глубоко в груди даже малейшую человеческую слабость, чтобы не выдать взглядом свою малость. В бою с тунгусами Дежнев был впервые ранен, отряд Стадухина потерял лошадей; на реке Оймякон срубили острожек, против пятидесяти казаков пятьсот тунгусов, юкагиров. Стадухин покинул острожек с ясаком, чтобы сдать соболями сорочки якутскому воеводе, а горстка казаков осталась оборонять зимовьё против огромного войска «иноземцев». Дежнев был тяжело ранен стрелой в грудь. После зимовки, когда сошел лёд, пеши спустились вниз по Оймякону, стали шить малые кочи, но службу царскую не бросали даже в гибельных обстоятельствах, всюду искали племена «туземцев» в низовьях Индигирки, чтобы обложить ясаком. Но их опередил другой якутский отряд сборщиков и обложил «иноземцев» данью: пришлось идти дальше, на реку Алазею.

...Стадухин был энергичен и чрезвычайно удачлив и скоро дорос до атамана. Куда бы ни двинулся азартный пинежанин, везде его как бы поджидали открытия. Так летом 1643 года отряд казачьего атамана Михаила Стадухина, в котором простым казаком служил Семен Дежнев, открыл реку Колыму и заложил зимовьё, а на этом месте братья Коткины, родом из Мезени, поставили Средне-Колымский острог. Начальный человек по всей Колыме мезенец Кирилл Коткин зарубил Нижне-Колымский острог, откуда через четыре года он же на свои средства собрал с приказчиком из Холмогор Федотом Поповым поход на Восток, тогда в отряд и попросился целовальником рядовой казак Семейко Дежнёв, обещая собрать для царской казны 200 соболей. Наперебой пошел Анкудинов, посулился собрать с ясачных 230 соболей; Дежнев не собирался уступать власть в команде и дал слово собрать ясаку 250 соболей, но, зная дикую натуру земляка, послал на него «ябеду» якутскому воеводе Мусину-Пушкину и не взял Анкудинова с собою, чем нажил себе лютого врага.

Таким же супротивником Дежнева стал и атаман Михаила Стадухин, полагавший, что это он по всем правам казачьего войска должен быть начальником всей экспедиции к Анадыри-реке, а не этот выскочка с Кулоя, которого Стадухин ещё в Енисейске забрал в свой отряд как земляка, почти родника-пособника в этой гиблой сибирской стороне, где каждый решительный воинственный человек дороже золотого слитка. И до последнего случая дружба меж земляками не нарушалась.

Ещё на выходе из устья Колымы экспедиция потеряла три коча из семи, их сбило «борой», и крутой сувой закрутил к неведомым островам, где жили зубатые люди (алеуты) ... В августе выкинуло на гранитные утёсы коч Анкудинова. Сам Дежнев потерял судно южнее Олюторского залива... (Поход Дежнева описан в книге «Груманланы. Венчание с океаном»).

Уже будучи казачьим атаманом, Стадухин беззастенчиво грабил спутных людей, его и с властями не брал мир; идя на Анадырь напрямик через гольцы на выручку Дежневу, обещал прикончить пермского казака Мотору со всей его командой, отобрать пожитки, хлебы и пушной ясак. Мотора пожаловался Дежневу, что Стадухин преследует его и угрожает ограбить и убить. Дежнев, зная норы атамана, заступился за Мотору, не дал в обиду, и Стадухин, видя, что у земляка из деревни Есиповская, что спряталась от реки за таежной гривкой возле Кулойского волока, власть над Анадырем не отобрать, в остроге не остановился, а миновал зимовьё стороною. Дерзкий атаман Михайло Стадухин, наверное, не терпел соперников, и, понимая, что целовальника Дежнева ему в этот раз не одолеть, отступился от Моторы и круто повернул в северные пустынные леса Приамурья, перевалил через каменные гольцы и бродил два года невдали от Байкала, объясачивая чукчей и бурят, якутов и юкагиров, племена тех князьцов, что укрылись в тайге от настойчивых московитов, избежав податей. Атаман-поморец Михайло Стадухин сделал в те годы много выдающихся открытий во славу русского отечества и значительно пополнил московскую казну, которая остро нуждалась в серебре. Так получилось, что боевое мужественное поморское племя, освоившее Сибирь, в основном вышло из Мезенской волости, с Мезени, Пинежки, Кулоя, Печоры, Северной Двины, Онеги, Великого Устюга, с

Моря Студеного, Колы и Печенги, где прежде обитали сарматы, словены, чудь, лукоморцы и скифы, – из самой-то глубины Русского царства, и не только сохранило его, но и приумножило, придало особенных национальных черт, отличающих от лукавого протестантского запада.

Тут самое время ещё раз напомнить имена Пантелея Пянды, Волка, Курбата Иванова, Стадухина, Анкудинова, Федота Алексеева, Семена Дежнева, Мотору, братьев Ружниковых, братьев Коткиных, Посника Иванова, Перфильевых, Алексея Чикачева, Откупщиковых (отца и сына), Рогачева, Савву Фофанова, Савву Лошкина и сотни других мезенских промышленников (всех не упомнишь), которые ходили на зверобойку на Матку и Грумант, Колгуев и Обь, а после обходными путями подались на Таймыр, на Пясину, Хатангу, Анабару, Лену, на Камчатку, Амур и Байкал, где много потрудился мезенец-картограф Курбат Иванов.

Их охота за соболями и новыми землями начиналась с Мангазеи, с потаённой зимовьюшки мезенских промысловиков, которые запохаживали на Восток в древние от нашего взора и памяти чудные долетописные времена, когда подле Скифского океана жили совсем иные люди с иными нравами и обычаями, но с нашим обличем, и мезенцы лишь наследовали их нажитой опыт, становья и земли. А мы с легкостью скинули с сердца своё детство и юность, начав биографию с минувших дней Великого князя Ивана Калиты, приняли их за начало русской истории. Наконец, настало время встряхнуть минувшее, сдуть пыль с пожелтевших её страниц и наполнить русским ветром новые паруса. Чтобы воскликнуть: «Братцы... Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!.. Быть русским, какой восторг!»

Наверное, все походники, кто плывал в Ледяном океане, спотыкались о полуостров Таймыр, о «землю мертвых» Быррангу: людьми овладевал панический ужас, когда мрак гранитных склонов тесно обступал их, как бы запирали воздух в груди: из этой преисподней, так искусно скроенной из вечного материала, гранита, самим дьяволом, хотелось скорее выскочить на волю, где, хоть и на короткое время, но встанет над головою солнце, и в соседстве с ним кочуют в аэре радостные ангелы, выпекая божественные стихиры... Ведь и Норденшельд, пройдя вдоль берегов Таймыра и весьма гордясь своим героическим действием, в глубь Бырранги не решился войти, наверное, сознавал свою малость пред полчищами каменных идолов...

Но эти таинственные тягостные ущелья под пятою исполинских гранитных нагромождений, увенчанных папахами снега и льда, летом пестрые от цветов наволочки и не знавшие косы высокие жирные травы уступистых бережин, витые излучины искрящихся бурных вод исследовал русский капитан Прончищев со своей супругой и помощницей, отважной спутницей в арктическом походе. Сначала сломал ногу и неожиданно скончался начальник русской экспедиции Прончищев; его жена взяла команду над гидрологами, но через четырнадцать дней злой рок подобрал и её в свою смертную ладью; вдруг почувствовала себя дурно и умерла одним днём мужественная грумманланша, именем которой позднее назовут залив... «Земля мертвых» Бырранга, бывшая родина мамонтов, носорогов и саблезубых тигров, под свой покров на жертвенный алтарь приняла и упокоила молодую семью Прончищевых... Там они и погребены рядом на берегу Ледяного Скифского океана...

Швед Норденшельд миновал «землю мрака» много позже, в конце девятнадцатого века. И прежде чем плыть нам по русской истории далее на Восток, к Лене и Индигирке, Колыме и Анадыри к проливу Аниан, наверное, самое время вспомнить имена многочисленных народов, которые мы так легкомысленно выкинули из родовой памяти, населявших сказочное Лукоморье ещё до нашествия с Алтая и Саян самодинов, юкагиров, якутов, ламутов, энцев, бурят, чукчей, эвенов, монголов, корейцев, японцев и китайцев. Под Полярной Звездой у Ледяного Скифского океана жили самые древние в мире белокурые голубоглазые племена.

Эти земли, от златокипящей Мангазеи до Большого Камня Табина (мыс Дежнёва), овеяны лазоревым туманом легенд, мифов, крестьянских преданий и слухов о таинственных народах, что прежде обитали в Сибири, кого притащила на Верх государева Дворца излюбленная

великими князьями нищета; юроды Христа ради, бродячие калики переходные, скоморохи, скитальцы по Ледяным морям, видевшие русский рай, деревенские колдуны и колдовки, бабки-шепчушки из Олонецких пределов, вещуны, гадалки, былинщики – хранители русской древности, сказители и народные поэты из самой-то глубины, словесной «пашенки», поднимавшие русских скифов из беспамятной немоты молитвенной чистой душой, за многие столетия до великих дворянских поэтов, переложивших наследные фольклорные песни и страдания на свой поэтический строй.

5

Известный путешественник и географ Николай Витсен перенес к нам из семнадцатого века прелюбопытное свидетельство, напоминающее ту самую легендарную сказку, которыми и наполнено русское историческое бытие. Археологи и гидрологи в Якутии достали из вечной мерзлоты настоящего мамонтенка, и мы увидели его в Московском музее, теперь я верю всему, что утвердили из сказки в жизнь поморы (мои далекие предки), жившие на берегу Скифского океана.

Николай Витсен пишет: «Один московский воевода сказал мне, что 30 милями ниже Олонца видел, как около берегов этой реки, которая там протекает между высокими горами, в подмытом слое обнаружили кости людей и животных. Тогда начали по приказу воеводы рыть и на расстоянии двух миль в ширину и длину нашли под землей на глубине 8–10 футов тысячи костей человеческих и слоновых, человеческие головы, бедренные кости, руки, ноги. Местами скелеты слонов были кое-где, как бы упавшие и скорченные. В мире нет такого кладбища, содержащего столько костей. Они лежали как бы сложенные в кучу. Это несомненно, как считает воевода, остатки сражения Александра Македонского со скифами, о котором сообщается в преданиях. Два слона были найдены упавшими набок, рядом нашли две серебряные чаши. Подобных костей нашли много на дне реки Танаис.

Воевода рассказал, что он видел перед воротами казачьего города Черкасский в нижнем течении реки Танаис, выставленную большую кость, как человеческое бедро. Считают, что это была кость великана. Говорят, что в древние времена в этих краях жили великаны».

Тогда вести о великанах-волотах стекались в Московский Двор отовсюду, их видели, с ними общались, каждый народ и племя имели своего великана-долгожителя, необыкновенного силача и воина, на которого опирались в жизни; обычно это заступники с доброй душой, именно с тех дальних лет на Руси и живет понятие, что большой человек (великан) обязательно добрый, великодушный, жальливый, заступленник за малых, сирых, слабых людей; этот особенный славный человек уходил на небо Богом, а возвращался на землю уже героем народного эпоса. ...Слухи, принесенные в царский дворец каликами переходными со всех углов мира и старухами-шепчушками, принимали порою сказочный характер. Когда Инды и Ганги откочевали из Гипербореи на юг, на их место под Полярную Звезду (всем матерям Мати) пришли неутомимые, с художной душой Причерноморские скифы. Это было за три тысячи лет до новой эры. Здесь уже обитали кочевники первого потока: скифы – чужь и лукоморцы. Следом к океану пришли русские скифы-пеласги. Когда с Алтая спустились самодины, вытесненные из Саянского нагорья алтайскими скифами в сибирскую тайгу (дичь и глушь), земли Зауралья, Перми и Приобья, Мезени и Подвинья, оказывается, были уже плотно заселены, и пришлым племенам не нашлось земли и им, не знавшим океана, суждено было долго и жестоко перепираться за арктическое побережье, прибирать враждебную тундру к рукам, и только с помощью скандинавов и бриттов одолели и отобрали у лукоморцев (сихиртя) родовые палестины вдоль Райского океана от Печенги до Индигирки.

Скифы – великий мировой народ раннего Средневековья, имевший множество самоназваний; владычили во всех уголках Европы и Азии несколько тысячелетий, разделившись на

множество белолицых голубоглазых племен. Это пришло на смену новое человечество, дети Богородицы, и сходящие со сцены прежние народы, не желая добровольно вернуться в угрюмые сумерки прошлого, объявили светлым пришельцам из космоса, детям Христа, нескончаемую войну, которая длится по всякому поводу и в наши дни.

Ещё за три тысячи лет до Христа потоки многочисленных племен, уставших растить мясо по склонам хребтов, прослышали о рае на далёком Севере и двинулись с южных гор под Полярную Звезду; а в это время навстречу от Таймыра и Индигирки поднимались вдоль Каменного Пояса народы Инды и Ганги, навсегда покидающие свою древнюю остывающую родину под Маткой-Полярной Звездой, ещё не зная своей грядущей участи. Несколько столетий, наверное, пробыли на Аркаиме в подбрюшьях Урала, но что-то, зная, не заладилось у Индов, тяжелый отравный дух струил из подземелий Каменного Пояса, и они потянулись к верховьям Иртыша, теплым водам Черноморья и пальмам Сирии, к Аравийским степям, где тоже паслись стада слонов, так напоминающих волосатых мамонтов и шерстистых носорогов.

* * *

...Грустинцы и серпоновцы ведут с лукоморцами (народ Сихиртя) торговлю до 27 ноября, когда пора умирать (эти слухи разносили самодины). Лукоморцы складывают товары в специально отведенные места, грустинцы и серпоновцы оставляют свои товары на обмен, а товары лукоморцев уносят с собою (так прежде проходила меновая немая торговля меж племенами). Если лукоморцы, очнувшись весною, увидят, что обмен случился слишком несправедливый, то требуют свой товар назад (моржовые клыки, кожи, песцовые и соболиные меха, красная рыба, искусные поделки из мамонтова бивня и рыбьего зуба, мелкая пластика, бронзовое литьё). Лукоморцы (близкие родичи скифам, чудинам и русским) были с художной душой, в своём развитии опередившие пришельцев на добрую тысячу лет и, казалось, пропали навсегда. Но археолог Чернецов совершенно случайно наткнулся на их погосты на полуострове Ямал в тридцатые годы двадцатого столетия. Народ, занимавший лукоморье от Колы до Индигирки пропал из русских летописей и ученых записок, словно бы и не существовал вовсе. И ученые географы, гидрологи, филологи и антропологи как-то и не всколыхнулись от выдающегося открытия Чернецова.

Восточнее Печоры о край Ледовитого океана обитало (по преданию) малорослое племя, напоминающее детей, белокурое, голубоглазое, живущее в буграх-полуземлянках. На белый свет они показывались редко, только когда выходили на кожаных лодках в море за моржом и белухой, с проезжим народом общались знаками, неохотно, а обменявшись товарами, снова возвращались под землю. Это были рудознатцы, по Усть-Цильме, на Печоре и Оби копали сотни тысяч пудов меди, олова, а из бронзы отливали малую скульптуру, искусно ковали зверей и своих Богов. Культура «сихортэ» была близка с чудскою, хотя чудь жила в пермской тайге, а племя сыртя по студеному берегу океана, на Канине, Соловках, на Матке и на Ямале, занимая побережье до Тймыра. Наверное, сыртя – это первые копальщики медных руд в горах Быррогана на тысячу сто вёрст. Видимо, лукоморцы и поставили Золотую Бабу в Устье Оби, русскую Богородицу с младенцем на руках.

Ненцы жутко боялись Ледяного океана и не ходили зимой по льду дальше острова Вайгач, где у них было главное языческое капище, стояли деревянные божки, убажанные самодскими дарами, – кусочками сырой оленины с кровью и лоскутками цветных тканей. Первый ненец остался зимовать на Матке лишь в 1859 году. Для этого ему построили избу и привезли оленьи стада для поездок по Матке и для еды. Поклонялись они богу Нуме, пасли оленей в лесах по Мезени, кочевали по малоземельской тундре, но пастбищ постоянно не доставало, оленьи стада вытаптывали мхи и еру и приходилось невольно прижимать (теснить) лукоморцев, отнимая у племени литейщиков и зверобоев их жизненное пространство. Так исчез бело-

курый голубоглазый народ, напоминающий детей, одетый искусно в песцовые и собольи меха, в золотые височные кольца и серебряные гривны на груди. Жили лукоморцы по Мезени, Мегре, Печоре, до Таймыра; а в Пермской земле до Чудского озера, обитали племена чуди белоглазой, сероглазой, голубоглазой, обычаями напоминающей русских поморов, скифов-сарматов, русов-пеласгов и сварожичей Варяжского моря. Когда-то эти племена чуди и русских скифов, поставив крепости Изборск и Словенск, по реке Онеге спустились к Молочному (Белому) морю и приняли суровую землю как свою родину.

Лукоморцы были мелкие росточком, неказистые, и рядом с ними поморы выглядели бородатыми великанами, по глаза заросшими русой кудрею. Отсюда, наверное, и легенды о белокурых поморах-великанах, живших у Ледяного Скифского Океана и по Оби, на Таймыре и по великой реке Лене...

Никому не ведомо, куда делись русские скифы-сарматы-кожемяки: или выродились, или срослись со сварожичами, только сохранились о них легенды как о народе героического склада, воспитанном Ледяным океаном, чья древняя родина называлась Арктидой. Со слов самодино-ученые финны пустили слух по миру: дескать, чудь белоглазая и народ сиртя (лукоморцы) ушли под землю и больше под солнце не появились. И эту смехотворную чепуховину, глупую побасенку подхватили советские ученые и до сей поры тиражируют в своих наивных работах. Да, народы – рудознатцы, художники, оригинальные мастера мелкой скульптуры много времени проводили за ковкой, выплавкой руды, жили в полуземлянках. В тяжелом воздухе, наполненном испарениями свинца, олова, варили бронзу, отчего рано теряли зубы, не ели (как самодеды) сырого оленьего мяса, брезговали горячей оленьей кровью, и потому умирали от скорбута (цинги). А ненцы, которые большую часть жизни проводили в движении, гоняя по тундре оленей, краснощекие, с сияющими карими глазами, были полной противоположностью лукоморцам. Сыртя своим болезненным видом, серым беззубым лицом вызывали чувство ужаса и страха, как жители тьмы, страшные колдуны, носители зла и предсказатели смерти. Потому самодины старались не встречаться с лукоморцами, обходили их стороною и, как люди по природе воинственные, старались при случае согнать с земли, уничтожить «сихиртя», накинуть на его шею тынзей (аркан) и удавить, или утопить в ближнем болотце, помазав губы деревянному божку (тадебцию) оленьей кровью, когда навещали своё священное место на острове Вайгач. Лукоморцы пропали примерно в середине четырнадцатого века второго тысячелетия (как пишет археолог Чернецов), но нет упоминания их ни в русских былинах, ни в рассказах мезенских мужиков, ни в сказках досужих мезенских старух, ни в народных преданиях. Хотя ходили легенды, что на Матке в смрадных пещерах жили мелкие люди-«шарашуты» с железными носами и железными зубами.

Сами ненцы рассказывали археологу Чернецову, как чистую правду, что их предки в четвертом поколении ещё помнили голубоглазых белокурых мелкорослых мужиков, живших возле океана, и отдавали за них замуж своих девок. Иные ненцы с гордостью заявляли о своём родстве с сиртя: дескать, если какая девица была мила сердцу, той ненке сиртя щедро дарили золотые и серебряные украшения, подвески, кольца и бусы. Русские промышленники двигались по следам древних скифов, наследуя их морской опыт и образ жизни на лукоморье. Они шли встреч солнцу тремя путями, наискивая полузабытые, стершиеся вехи заросших дорог больше по наитию, наваждению, пророчеству и сказкам новых насельщиков с Алтая, видевших белых голубоглазых людей, и бывая явь, ставшая легендой и мифом, едва проступала сквозь непрозрачную темень веков. Казалось, что глухая полярная ночь уже навсегда овладела бесконечной ледяной пустыней.

Один путик был через суземки – непроходимую тайболу, от верховий к низовьям незнакомых рек, по волокам и наволочкам, таща в лямках кочмары и коломенки, шитики и прогонистые лодки, переваливаясь с реки на реку, через горные хребты, строя гати и переброды через болотные ворги и тысячи ручьев, мелких проточин, висок, озерин и безымянных речек;

одолевая новые земли где на собаках, верхом на олене иль лошади, где и пеши, бредя сотни заснеженных верст под безжалостным засиверком-заморозником, таща за собою чунки, или керёжу, или нарты с убогим скарбом, ранней весною хлюпая в долгих броднях-бахилах по бесконечным юкагирским болотам, по тундровым трясинам-павнам, по няше морских заплесков, с трудом выдирая ноги, порою в «тлящий» мороз под пятьдесят, отдавали Богу душу ни за понюшку табаку, превращаясь в заледенелую корчужку, перемогая ночь на «сендухе» под елью, тащились обозами, оленьими аргишами, где водою, «шестясь» на карбасах, истирая ладони до кости, на кочах и лодьях, бурлача судёнки по бревенчатым кладям через нужу и стужу... Досталось, однако, русскому помору горей, пока-то занял пустынные сибирские черноземы, не знавшие копорюги, куда ещё не ступала нога крестьянина; и вот наконец-то заимел, христовенький, крышу над головою и клин пахотной земли.

И только освоился поморянин, обжился, вспахал пашенку, вырастил первое обильное зернецо, испек пшеничный каравашек, и тут, в самую благословенную минуту, как проклятый черт из ладонки, появляется посыльный с бумагою от императора Петра и давай гнать бедолагу с семьею и с детишками назад убродистым путём в нищий покинутый дом. С великими трудами, через кровь и пот, добился русский крестьянин желанной воли, выстрадал крохотный рай – и на тебе, всё посыпалось прахом. И лишь тот, кто на себе испытал коварный поворот судьбы, поймет, что творилось на душе мужика и как возненавидел он государеву власть с его наймитами и вместе с нею всю архиерейскую черную сутану, пожравшую божью правду и жалость, без которой не бывает сострадания. Вот и казенный суд на их стороне и слать слезницы некому, и нет того праведника, который бы унял твою сиротскую слезу. И царь Петр невольно вырос в глазах страдника в гигантского Сатану, занимающего всё небо до самых окрайков Божьего рая...

И куда деваться, кому жаловаться в эти минуты, когда нет вокруг христорадной души, кто бы пожалел тебя и твою жену-страдницу с детишками, что приплелась с Помезенья к благоверному, чтобы разделить с ним тяжкую судьбу? Или сиди пнём придорожным в своей изобке, или, перемогая натуру, через последнюю силушку, тащитесь, бажонные, в новый страдный обратный путь на Мезень, Пинегу, Печору, на Двину... Или перемогая крутые вязки, кнутовье и батожье, беги новым кругом... на Обь, Тобольск, Иртыш, Нижнюю Тунгуску, а оттуда на Лену, Индигирку, Колыму, на Заворот через Большой Камень... Иль прячься в заснеженных каменных гольцах, кедровниках, скрываясь в глухом суземке от «чужеземцев», пока в твоей скрытне не достанет воинская команда и не погонит в кандалах обратно на Мезень на новые тесноты. Пока-то дети подрастут и уйдут в «гулящие» по отцовым следам...

* * *

В семнадцатом веке все пути упирались в Мангазею, и когда Борис Годунов в 1601 году подписал указ ставить там острожек с таможеню и бить чеснок, в тех суземках уже не одно столетие бродили наследными путями мезенца Волка по кулемникам, как привидения, мезенские старожилы, таёжные люди, обросшие звериной шерстью, и топтали тропы в дебрях на Енисей, на Хатангу, на речку Мамонта, на Пясино, обходя гранитную стену Бырранга стороною; оттуда спускались в Скифский океан, шли под парусом на Анабару и Лену, поднимались до Якутска и Байкала, собирая ясак соболями, чернобурой лисицей, почасту схватываясь с юкагирами, якутами, «чухчами» и бурятами... (Много мезенских груманлан легли в землю в Забайкалье от беспощадной «братской» стрелы и ножа.)

По весне, когда отходили в голомень от Матёры ледяные поля, русские скифы, обогнув Таймыр сухопутьем, плыли на морских кочах по чистой воде на Лену, Яну, Индигирку, Колыму. Потом и Анадырь приспели отважные разведчики. Тут тоже чаще всего отличались

мезенские отважные ходоки и «гуляющие» ребята с Помезенья, которым не было равных на всем Востоке...

Средним путем через Камень из Соли Вычегодской двинулись двинские, олонечские, устюжские и мезенские казачата под командою Ермака, нанятые купчиной Строгановым, которому шибко надоели разбойники Кучума, грабившие промыслы, убивавшие работных людей, мечтавшие вернуть под своё владение богатый Урал. Правнуки Чингисхана, кусая локти, наконец – то запоздало поняли, что кто владеет гранитной Стеною меж Европой и Азией, тот управляет миром. Но, увы, прежних сил, «талана» и воли хозяйевать в великой Скифии у юных царевичей, погрязших в дрязгах за власть, уже не было. Пермьяк старообрядец Строганов понял величие Урала на триста лет раньше, чем отпрыски Чингизидов, потерявших скипетр и державу, и уже не могущие величаться, держать за собою наследные закрома владык мира, отчетливо не представляя всех несметных богатств Урала, спрятанных Господом от завистливых глаз...

В войске Ермака в начале похода было пятьсот «гулящих» поморов, через два года осталось сотня русских скифов, записавшихся в казачье братство, созданное за клятвою государем Иваном IV Васильевичем. Это на письме всё просто: де, пошли и заложили Тобольский острожек после Мангазеи. И обзавелась Сибирь своей столицей, и стала славною на всю Азию и Европу, и как-то скоро забылось, кто величил, кто поднимал с топора крохотный острожек, бил чеснок, рубил избы, воеводские службы, храмы, амбары и скотиньи хлевы, весь новый удел в устье реки Тоболки, куда и сел на службу государев воевода Головин, а вместе с ним Пушкин: тогда как-то скоро менялись царевы подручники, чтобы не захмелели от пространства и воли, богатых посул и подарков, от которых легко было потерять голову; и пока была она трезвой на плечах служивого, и чтобы не зависла она в петельке, боярина с Оби перекидывали на Якутск, оттуда на Енисейск, Архангельск, на Мезень и Вологду, в Ярославль и Владимир, и в какие-то веки ещё вернется стольник под Кремлевские башни, на своё поместьеце..

Это хорошо, с одной стороны, иметь пространные земли и отовсюду собирать гобину в Московские скрины, что пусть текут и не рекою, но звонким ручейком, не промахиваясь мимо казны, иль частым волшебным дождичком, переходящим в шумную небесную потоку; но как трудно управлять теми людьми, что стоят у сундука, чтобы при виде серебряного прибитка не рухнула навзничь слабая душа православная, за которую, бывало, так страдал Иисус Христос.

А что наш русский скиф, как перемогался он на ратной службе, перебираясь с реки на реку волоками и разволочками, таща на бурлацкой лямке речную насадку, груженую мукой и солью, хрипя словно загнанная скотинка, не успевая толком ни водички хватить воспаленными губами из случайного родника, ни глотнуть таёжного соснового духа полной грудью, не ведая умом, достанется ли ему ржаная горбуха, щедро присыпанная солью, и удастся-нет на привале разветься корчиком белого винца, ведь уже сколько лето не получивано из казны денежного жалованья. И с кого тут спросить свой пятиалтынный, ибо в какую приказную избу ни ткнишь с жалобой, везде сидит воевода Пушкин: развелось их, как лохматых пушковых на болотной палестине (отсюда и фамилия). И, минуя царева слугу, шлет наш несчастный казачок, обзаведшийся в военных походах «погромной» бабой Палагой и детишками от этой крещеной якутки, которым тоже надо положить житную корочку на зубок: дескать, царь-государь, сжалуйся, прости и помилуй, век буду молить, отец родимый, помоги христовенькому, что верой и правдой служит своему государю: весь испробит на боях стрелами, испротыкан ножом, доставая ясак от «иноземцев». А уж сколько год не получивано жалованья, весь обремкался и пропал в этой нужде, и сапожонок не могу справить, хожу наг и бос... И засылает наш поморский казачок слезницу, дожидаясь ответа, но сам меж тем собирается с новыми силами и безотказно готовится в новый поход...

* * *

Велики ли, братцы, были те деревнюшки, выселки и погосты, но когда посунулись от невзгоды прочь от домашнего порога, призамглив очи, сразу осиротел, обнищал скифский Север, считай вполовину припотух, повыгарывал, утратив прежнее достоинство и пригожий вид: оказались с заколоченными ставенками тысячи изобок по угрюмому русскому поморью, осиротилась пашенка, заросли улицы сел и посадов нежить-травой. Все мужички – мастера топорной работы, умельцы шить речную и морскую посуду: лодки, каюки, коломенки, карбасы, шитики, кочмары, насады, лодьи и кочи, соймы и баржи – подались на восток, где ремесленные руки вдруг оказались в великой цене.

Зря полагают, что русский моряк появился на Ледяном Скифском Океане только после царя Петра; да нет же, ещё во времена ранних Рюриковичей, а может, и за тысячу лет до великого воина Святослава, плававшего на стругах по Дону и Днепру, прибрели голубоглазые, русобородые мужики с Русской равнины, зарубили острожки Изборск и Словенск и подались далее, к Скифскому океану, на Онегу, Двину, Мезень и Печору, осваиваясь на берегах тысяч островов Груманта и Матки: и когда причалили к скалистым берегам свеи, даны, британы и норвеги, то перед их глазами открылись многочисленные потемневшие становья русских зверобоев.

Но в Европе жило утвержденное протестантами правило торговца, маклака и процентщика, что каждая незнакомая земляца, случайно встреченная в пути, должна обязательно быть записана в «гроссбухи» того владыки или торговца, чьи суда вошли в залив и бросили якорь, – и только тогда обретала право быть вечной принадлежностью «нового флага». Ибо на экспедицию купец тратил деньги и потраченное в морском походе надо оправдать и обязательно остаться в выгоде. Подобное присвоение всего чужого, «варварского», и «бесхозного» стало считаться за мировое правило владения чужой землею, что в русских обычаях ещё не было принято государственным законом «первого владения». Потому исторические находки, не занесенные в монашеские летописи и в сказки приказных писарчуков, не объявлялись на публику и не приобретали первого права за русским царем. О чем не написано в газетах и книгах, в архивных документах, того как бы и не случилось.

Так древние русские острова Груманта и воды Скифского моря объявились на мировых торгах за именем Вильяма Баренца, однажды случайно приплывшего к Матке и погибшего от Старухи-Цинги в просторах Ледяного океана: хотя мезенские и пинежские промышленники уже столетиями плавали в те уголья за промыслом и жили от морских даров и по всем губам и загубьям стояли их фактории. Но коли о гибели Баренца было объявлено по всем газетам Европы, то и «открытие» датчанина осталось за его именем. Россия истиха теряла право первооткрывателя и владельца, а когда очнулась, Грумант был уже утрачен на наших глазах... Совесть и божья правда колыбнулись в растерянности перед денежной кошулей и уступили острова Мамоне и «золотой кукле» европейского банкира. А подвиги мезенских поморов с годами попритухли, поувяли и без особого шума погрузились в сумерки забвения. Но, слава богу, не источились, не пропали совсем.

* * *

Семен Иванович Дежнев – непреходящая слава Мезени (России), и вот коли начал я труды о Груманланах, прощаться на этих страницах с мезенским пинежанином душа тормозит, так велико перед земляком моё почтение. Давно бы надо всем нам наслаждаться такой неизбывной радостью, да вот подпенные черви изгрызли «стулци» русской истории, и застряли мы, наивные дети, в растерянности, едва живы, на поклонении своему брюху (этому черному врану и несытой свинье, и всякой чертовщине, что пасется возле уже пятое столетие). Только

нынче, пускай и запоздало, в эти тревожные для России дни, пришло для добрых памятей мое сердце. И неизбежно, с какими-то повторами и истериями продолжу размышления о своих земляках, повенчанных когда-то с Ледяным Скифским Океаном... Но, братцы мои, лучше поздно, чем никогда...

В 1640 году из Якутского острога казак Семейко Дежнев был послан целовальником на Вилюй для сбора ясака на тундровые речки Татта и Амча, где и склонил к уплате ясака воинственного князя Сахея из племени кангалесов. Всё кончилось миром, не пришлось силою захватывать аманата, племянника Сахея, отбивать его от орды, прятать за строгим караулом в темный чулан в потайной схорон от родичей, рубить острожек, чтобы пересидеть до весны и держать малым отрядом оборону, полагаясь на Господа. Дежнев делал только первый шаг к грядущей славе, когда его земляки Стадухин и Анкудинов уже известны были своими похождениями на всю Сибирь, не чинясь перед властями.

Кочевая жизнь русского скифа Дежнева приняла новый оборот: он вроде бы оставался груманланином, скитаясь на коче вдоль сибирского лукоморья, так же ставил кулемки и пасти на соболя по сузёмкам, брал на рогатину ошкуя, доставал по рекам муксуна, осетра и нельму, скитался по тайге, замороженный насквозь каждым мосоликом, а летом изъеденный ордами гнуса, почерневший и опухший от скитаний по рекам, заморозных ветров и дорожной грязи, аки тунгус, от ночевки на «сендухе» под елью, или в случайной кушной изобке, или под снежным забоем, закутавшись наглухо в совик и малицу; но в новой бродячей жизни над Семейкой теперь стоял воинский начальник, диктующий свою волю, которого и на кривой кобыле не объехать, вот и московский царь оказался совсем рядом, за ближней горной грядой, он вдруг заменил батюшку родимого, которому можно было послать слезницу, или ябеду, чтобы «пожалиться» на неправды.

Дежнев не был умильно-кротким человеком, трусоватым или покорным, как половой вехоть, но он считался в воеводской избе благоразумным помором, которых большинство в мезенской стороне; если бы груманлане были уросливыми, строптивыми, вздорными, с высоко вскинутой головою, то команда, зимую на Груманте, скоро бы протянула ноги, ибо каждый артельщик тянул бы правду в свою сторону, не уступая и в малом, забыв Господа, загрублялись бы на кормщика, не внимали ему, нарушали заведенный поморский устав; зимую на стану, далеко от Матеры, свой норов мужику полагалось смирять, слушаться не только главу артели, который в океане для покрутчиков выше самого Господа, но и каждого зверобоя, кто поверстался в артель. На зимовке выживала только слитная «общая душа». Семен Иванович отличался скромностью и незлобивостью, носил в груди христианское сердце – эту особенность натуры отмечали все, и Дежнев вошел в доверие не только в казачьем войске, но и в среде «чужеземных» племен, особенно в дни сбора ясака, когда смерть «торкала» в спину не только от Старухи-Цинги и её проклятуших двенадцати развратных сестер, но и от стрелы «чухчи», от ножа самоеда, когда бились царские служивые с ордою «иноземцев» один против десяти, отбирая у племени «аманата-князьца».

Дежнев был воистину русский скиф, в отличие от южных, алтайских, уральских скифов; Ледяной океан накладывал свой отпечаток светлости, необычности во внешности, тут выросстал со временем особенный образ русского сословия, вошедший в мировую историю: по характеру, религиозности, Господь лепил под Полярной звездой тип нравственного соработника, помощника себе, с художною душою, того кочевника, который расстался с мечом и в поисках дувана, хлеба насущного, теперь не проливал чужую кровь, как южные казаки, но добровольно расставался на просторах Ледяного Скифского Океана со своей жизнью, преодолевая невзгоды морского пути, беззаветно преданный Господу, и потому здесь, на Зимнем берегу, для помора Христос стал русским Богом, героически, с необыкновенным упорством блюдая древнюю веру. Но её исповедников, поклонников русского правоверия, обозвали раскольниками, язычниками, нравственными ничтожествами, убогими людьми и ублюдками, которых

едва носит на себе русская земля; преследуют с Петровской поры, загоняют в огонь, на «гари», в темень сибирских суземков, изгаляются над чистыми душами и насылают всеобщее презрение. Церковь в угрюмом порыве новин, переделке её устоев, в перелицовке национального прекрасного образа, упорно кропает новую русскую душу, не боясь на этой расстави исторического пути подпасть под протестанта... и ересь жидовствующих.

В шестнадцатом веке русский скиф повенчался с океаном, а боярская Москва в это же время украдкою сметывалась в запад под католика и протестанта, заигрывала с «ляхом», готовая пойти под венец с «золотою куклою».

Да вот староверцы – поморы Зимнего Берега помешали, затеяв Соловецкий бунт, стрелецкие брани и гари от Мезени до Тобольска и Томска, – сосмутили Русь от Дона до Тихого океана.

Поэты, по мироощущению ближе всех стоящие к подножию русского рая, особенно чутко, чувственно воспринимают своего небесного Отца. Поэт Жуковский, приятель Пушкина, однажды воскликнул, что Иисус Христос был русским человеком; а поэт Блок приветствовал Русь: «Да, скифы мы!» Но на эти мистические мессианские признание мало кто откликнулся, уже приотстраняясь не только от Бога, но и от своего национального духовного содержания, а питерский поэт призывал снова к кочевьям и мечу, – в такой изнуряющей сердечной драме доживал Блок свой век под покровом Богородицы.

Особенно трудно приходилось, наверное, помору, который жил в правоверии, а его снова толкали к мечу проливать кровь брата своего.

* * *

Снова возвращаюсь к Дежневу, как полузабытой легенде, почти исчезнувшей из своей родины. Хорошо, что враждебный Руси немец Миллер случайно возвратил его на Зимний Берег, превратил увядший миф в правду... Хотя там-то, на Востоке, всегда сквозь туман якутской истории вглядывались в тускнеющий образ русского мужика с речки Пинежки, который стал национальным героем Ленских кочевников. В 1641 году Дежнев взял в жены якутку Абакаяду – дочь тойона Борогонского улуса Онокая, завел своё хозяйство, скотину – корову и лошадь, нанял пастуха. Абакаяда родила ему сына Любима. Видел ли Дежнев своего смуглого раскосого мальчишку – осталось в предании. Обычно мужики брали себе в хозяйки с бою «погромных жёнок». Таков заведенный в мире порядок всех войн с древних веков. «Погромная баба» – наложница и дуван с полоненного племени – это награда за риск, доблесть, это особенный заработок воина за годы скитаний по кочевьям, за пролитую кровь, за тяжкие страдания и муки в годы военных столкновений, когда не вем, чья сторона возьмет верх. И люди, испачканные городом, фарисеи и начетчики, религиозные «спекуляторы» и корчемники, кабацкое отродье самого подлого ума, начинают сочинять в сторону служивых побасёнки и громоздить грязные наветы, вдруг позабыв, чьими страданиями они спасены, упрекают в мародерстве тех, кто живым вернулся с войны с возом завоеванного добра. Прежде других-то материальных выгод и не существовало, кроме той, что взятый у противника город отдавался на три дня на разграбление. Что наскреб по чужим сусекам в эти трое суток, то и твоё: женщины-полонянки, рабы, золото, ткани. Испуганные бабы, насильно взятые в постель угорелым от войны солдатом, готовно плодились, чем и возмещали утраченный в боях народ. Увы, такова суровая правда войны. ...Но, чтобы войско не рассыпалось, идя на поводу своих животных стихий, не пошло в распыл и разгул, держали его в ежовых рукавицах, под страхом беспощадного наказания, чтобы солдат не зарился на первую же попавшуюся ордынку, вот и приходилось силою умирять вольницу, гнать её в строй... Орденов в семнадцатом веке ещё не навешивали на фуфайку, и царь награждал героя золотой монетою, или золотой пуговицей, портищем английского сукна на кафтан или шубой со своего плеча.

А Дежнев привел в походный шатер не полонянку, «погромную жёнку», а девушку-якутку, дочь князья, повенчался с нею в храме, и сын Любим, когда вырос, тоже поверстался в казаки на Тихий океан, так и не повидав русского батьку, навечно ушедшего в поход по северам. Значит, Дежнев был суровых древлеотеческих правил и не желал умножать грехи, но шел правоверным путем русского скифа, и даже суровая кровавая стихия кочевий не могла сломать его нравственных правил.

6

Сейчас трудно расставить вехи на путях многих «языцев», ибо они столетиями кружились по миру, отыскивая себе прислон, но как звериные следы (падёж) выступают из-под снега под вешним солнцем, так и минувшее народа внезапно дает напоминание, что они тоже были когда-то до нас и не стоит их забывать. История человечества (племени) и зиждется на этих нравственных заповедях, а всё остальное от лукавого. Чтобы выключить из исторической летописи народ, достаточно лишить его национальной биографии, не вспоминать о его присутствии, укоротить его путь, или так исказить, опошлить прошлое, чтобы мы в испуге и растерянности сами бы отвернулись от себя. Ведь до сей поры внушают нам со всех сторон, что русские – народ ленивый, распьянцовский и нелюбопытный, пустой мусор человечества, занимающий чужое место, дескать, стоит лишь взять веник и замести его в дальний угол, в забвение. У протестантов в подобной науке большой опыт. Сочинили же когда-то самоеды нелепицу, что пермская чудь и лукоморцы ушли навсегда в землю, а «писарчуки» и ученые мужи поверили этой напраслине и по сей день утверждают побасенку в своих трудах, чтобы не нарушить ход изузстной молвы, приобретшей право истины.

Когда самодины побежали с Саянского нагорья под напором алтайских скифов и заблудились в пермских суземках, они встретили в лесном затулье странных белолицых голубоглазых людей (пермских скифов); они показались видом своим настолько чужими, что были прозваны «чудью», чудным, странным народом, обитающим под землею, ибо оттуда, из мрачных ущелий и пещериц на речных костогорах, явственно доносился перестук молотков, возгласы, смех, выпархивали наружу языки пламени и клубы ядовитого пара, от которого кружилась голова и роняло с ног. В этих скрытных чудь как бы погружалась в ночь с октября по февраль, не выказывая наружу носа, но без усталости выбивала по гранитам странную музыку. Но всё глуше доносился из горной кручи железный гул, всё реже по вёснам вылезали из бугров чудные люди, выкладывая для меновой торговли в условленном месте изделия из бронзы и серебра, пока однажды совсем не умолкло в горах... И кузнецы пропали навсегда, но остались в памяти как «старые люди». О них стали сочиняться легенды, их жизнь на земле погрузилась в мифологию и сказки, и благодаря археологам они превратились в чудесные картины, живым светом и чувственным образом обнаруживая померкший быт давно скрывшегося из наших глаз чудного народа. Но сохранялось постоянное ощущение, что чудины не пропали, они где-то рядом и скоро вернуться.

Мифы повествуют, что в Уральских горах в 40 километрах от Екатеринбурга, где работал один из первых уральских приисков «Гулишевский», было найдено огромное месторождение малахита. Здесь были древние чудские копи. (Все заводы старовера– промышленника Демидова строились на старинных выработках меди, серебра, олова.) В восьми верстах от карьера вздымается гранитная Азов-гора. А в пещерах многие сотни лет жили таинственные рудознатцы, рудокопы, плавильщики и кузнецы, чудесные ваятели художественной скульптуры, искусные поклонники мистической живой природы, окружавшей уральских скифов, пленившихся её красотой. К ним пристало самоназвание чудь, чудины, и с этим прозвищем и закрепилась скифская ветвь в мировой истории. В 1939 году школьники нашли на Азов-горе клад из множества бронзового литья птице-людей и таинственных зверей из зазеркалья, живущих

возле нас в мире невидимом, в том скрытом сказочном мире, куда никак не можем попасть. И когда открыли клад, тогда сказка вдруг ожила, и выстроился драгоценный мост из малахита между навью и явью, обрела действительно рукодельные черты, чтобы поразить наше убогое воображение; а пермская история сразу продлилась на три тысячи лет, связалась нерушимой вервью с греческими преданиями, с Ледяным Скифским Океаном и былинами Поморья.

«Стары люди» не ходили на кочах в Ледяной океан, не плавали на дальние острова за рыбой и зверем, не зимовали в становьях и не скитались по путикам за соболем и песцом на тысячи верст, не шили морских карбасов и лодий, но отливали скульптуру, работали с металлом; художники погрузились в глубины земли и там, во мраке недр, возлюбили переливистый небесный свет, струящийся через невидимые духопроводы малахита, лазурита, аспида и камня ясписа в молитвенную душу пещерного затворника... Были записаны от уральцев немеркнущие сказания, дескать, эти люди были «не русьски и не татара, а какой веры-обычая и как прозывались – про то никто не знает. По лесам жили. Одним словом, “стары люди”. В горах жили. В Думной горе пещера есть. С реки ход-от был. Теперь его не видно-завалило, поди, сажен на десять. А пещера подо всю Азов– гору шла. Однако новые насельники прознали о несметных драгоценностях, стали “старых людей” теснить. Разошлась повсюду слава о золотых самородках. К “старым людям” прибился один раненый казак, который научал обращаться с оружием и дал совет запрятать золото подальше, иначе житья не дадут. Между ним и дочерью местного старшины вспыхнуло чувство, а она смелая такая, расторопная, хоть штаны на такую надевай...» Известный русский литератор Мамин-Сибиряк извещает, что чудь существовала задолго до русской истории и можно только удивляться высокой металлической культуре племени. Все уральские горные заводы богатынь Демидовых были поставлены на местах бывшей чудской работы. Руду искали именно в этих местах.

По берегу Ледяного океана, благодаря археологу Чернецову, были обнаружены на Ямале в 1929 году рудные выработки неизвестного древнего народа, жившего от Колы до Чукотки (о них я рассказывал в первом томе «Груманланов»). Оказалось, что «сказочные лукоморцы», торговавшие с жителями города Грустина, свое новое имя («сихиртя», «сиртя») получили от саянских самодинов, прибежавших на Ямал под напором алтайских скифов. Пришельцы были крайне поражены необычным обличем старожилов – белолицых, голубоглазых, кудреватых и беззубых, смахивающих на детей; бог Нума и принудил ненцев коротать с ними близ грозного океана будущие века кочевий... И вот вернулось из сказки в человеческую историю ещё одно племя необычных людей, вроде бы навсегда скрывшихся от воинственных самоедов под землю. Странно, что ученые не занялись судьбою чуди и сыртя, но ещё пуще прикопали их и накатали поверх огромный валун, чтобы никогда не вспоминать больше сказочный народ.

Эти неожиданные находки заставляют задуматься о свойствах ума и разума, какая непреодолимая стена зачем-то воздвигнута Господом в последние времена между чревом и душою, и это препятствие, как сообщают прошедшие века, неодолимо. Единство и борьба противоположностей якобы заложены во всех частях брэнной жизни, и зачастую конфликт этот для простеца-человека невидим и как бы является пустой игрою интеллигентского ума, позволяющей закабалить божьего человека. Отсюда владельцы мира и богатыни в своих мистических дьявольских молебнях создают мрачные обстоятельства, ядовитым духом выпускают на сорботника своего и неумолимо заставляют своею жизнью расплачиваться за чужие грехи, разрешать беды, задуманные в безбожных скрытнях дьявольскими умами. Так и возникает единство и борьба противоположностей, затеянная процентщиками за шахматной доскою. Но в живой природе этой распри нет, всё вершится в гармонии и непреходящей истине. Увы, божьи увещевания и заклинания пастырей незаметно утратили свою силу, уступили свою власть... цифре. Вот и духовники в какой-то миг позабыли разум и полностью положились на ум...

Если знания не использовать во благо работнику, они укладываются в мозг под спудом, мертвеют и становятся безнадежной памятью. Когда-то она ещё очнется, эта память, и отпустит не остывшие ростки знаний из-под гнета.

У каждого человека есть дух, порода и природа, с их помощью узнается его принадлежность племени, эти качества соблюдались прежде неукоснительно житейским уставом, впитывались в его кровь, обличье и поведение на людях. Из природы возникает порода и его отличительные черты в физиономии, повадках, привычках; чтобы не потерялся в стаде среди множества подобных. Они имеют и духовные отлички, поведенческие. Почему-то люди внешние, без внутреннего содержания, лжеидеологи, с намерением погубить племя, постоянно уверяют, что у преступника нет национальности. Да наоборот: именно преступник особенно подвержен племенным отличкам; в роде и природе и заложен весь набор печатей внешних (нос, губы, глаза, уши, пальцы, волосы, походка) и внутренних, поведенческих (характерных способностей, «говоря», образность речи, его дух, манеры) и конечно те из племени, кто исторически не расставался с ножиком, носил неразлучно на опояске, за пазухой, за голенищем сапога, гордился им – легко пускал своего «друга» в дело: пастух, охотник, солдат, кочевник. Их не пугал, не отвращал вид крови, он видел в человеке лишь ту скотину (барана, свинью, лошадь, корову), которая шла на прокорм ему, как завещал Господь, их надо резать, не напрягая душу, колоть, если пришла пора. Род и природа ставят свои печати на каждом из нас, чтобы не потерялись, не выбились из своего стада. Еврейские пастыри не уставали научать: «Да не едим чужой еды, да не носим чужого платья, да не берём в жены женщину из чужого племени». В минувших веках эти заповеди были коренным (неукоснительным) правилом поведения деревенского мира, и там, где ныне нарушается оно, призатухает, сочтится гнильцой, племя неизбежно хиреет, скоро рушится прямо на глазах и навсегда покидает историю... Чужая еда, одежда и женщина оставляют на человеке особые памятки до конца жизни, которые ничем не удалить... Нельзя в свой заповедный мир внедрять чужие картины, как бы ни прекрасно они выглядели, ибо они уже наполнены древним скорбутом, хворью, насланной девкой-огневицей, десятой иродовой дочери, – пожар, который не избыть, не потушить.

Вот явился однажды ещё при Иване Третьем в Великий Новгород иудей Схария, чувственный книжник и начетчик, изнасеял в русской церкви сладкую «ересь жидовствующих», и эти плевелы не могут удалить из православной пашни и кремлевской власти более пятисот лет, так буйно они плодятся и вновь набрасывают сети.

Я плохо и скверно знаю историю, да, наверное, и все, кто окружал меня со школьных лет, знали ещё хуже, ибо советская власть бессознательно воспитывала из нас космополитов, загоняла родное национальное чувство под асфальтовый каток чуженина, не сознавая затхлым партийным умом своим, какие непреходящие беды насылает протестантский запад на Русь, созданную великими предками. А нынешняя, капиталистическая власть бессердечных вурдалаков лишь усугубляет прошлые беды, при всём её слововерчении и глуме над нашим прошлым. Я-то, вроде бы, очнулся, вошел в ум, принял в сердце духовные заповеди отцов, а миллионы русских так и почивают глубоким интернациональным сном по сей буржуазный день и черное наивно полагают за белое, и, пожалуй, уже ничто не вызволит их из болотной трясины и сладкой дрёмы, ибо бессонные «диаволы слуги» вывязывают из забыть-травы вокруг нас свою липкую паутину, окутывают грёзами чужебесия. Однажды, выплыв чудом из прозябания и беспечного увядания, я поразился внезапно вспыхнувшей мысли о великом русском мире, который жил на островах Ледяного океана и пестовал особенный русокудрый голубоглазый народ десятки тысяч лет. Братцы мои, да это разве не диво?

И внезапное изумление, словно луч света в темном царстве, меня ошеломило, лишило покоя. Я обнаружил себя темным неудачником, кинутым бессердечными пиратами с захваченного парусника на необитаемом острове Гипербореи. Что-то послужило моему духовному преображению, – я не уверен; какой скифской стрелой прободило мою жалкую головенку

и оставило невидимый чувственный след, – честное слово, не вспомнить! Может и пронзил неслышимый и невидимый удар небесной молнии от макушки до пят в тихий безмятежный день... Иль седая бабка-шепчущка из Сюзьмы наговорила «запуку» в глубоком избяном мраке мне на ухо, спящему на душных полотах; иль мезенская колдовка Параскева Осиповна из деревни Сояны опоила крещенской водою из семи родников, подбросила в постные «шти» щепотку четверговой соли. Но отчего-то ведь неожиданно случилось со мною странное переменение: я как бы прозрел мир окружающий духовными очьми, и многое тайное вдруг стало явным. Подобное частенько случается с теми, кто обручен с живой природою и неразлучен с русским словом, и тут нет особого чуда...

Этой минуты ждет, наверное, каждый правоверный, очарованный книгой, отыскивая в её мистической глубине божественных истин. Не из этого ли ознобного чувства вдруг воскликнул древний православный монах, выскребывая изморось на паюсном оконце своей келеицы, вглядываясь во вселенский мрак русской Арктиды: «Книги – это реки, напоющие вселенную». Этими словами мог уведомить пашенную Русь и монах в миру, великий государь Иоанн Васильевич Грозный, человек, живший, чудится мне, во все исторические эпохи русской Скифии.

Гениальному царю-книгочею Иоанну Васильевичу нравилось вывязывать длинную цепь родства от пеласгов, прилетевших из Гипербореи к Средиземному морю в «доноевы времена», ещё до императора Августа, чья кровь текла в жилах москвитя; от Августа до Чингисхана и от Чингисхана до Владимира Вандала; от короля Вандала до Рюрика, от Рюрика до Владимира Мономаха! И вот мы на пороге удивительных служений Иоанна Четвертого, подведшего под кровлю Великий дом русских скифов, зовомый Русью.

Воистину: человек предполагает, а Бог располагает.

Искал потерянные очки по всему житью, и вдруг под диваном нашлись четыре страницы много раз читанного письма о происхождении русского народа. За делами зашился, автору Александру Ушакову по беспечности своей сразу не ответил, хотя, видит Бог, много раз собирался, перечитывал содержание послания от неведомого почитателя, думы которого удивительно совпадали с моими (нынче такая редкость): он, как и я, доставал из забвения по крупицам давно и вроде бы навсегда утраченные приметы минувшей русской жизни, отделяя из нетей самую материальную сторону исторической легенды «О происхождении русского народа». Он распечатал очевидную изнанку русского мира и его развития во времени, до чего не доходила моя бестолковая головенка, хотя я чувствовал, что истина о величии русского народа, его трудного кочевья в десятки тысяч лет, таится в драгоценной скрыне где-то рядом. Добытые из глубины преданий мысли Ушакова, его взгляды на «круги вечности», найденные в Аркаиме, на Соловках, на Зимнем берегу Белого (Скифского моря) на Груманте и Матке, на Колгуеве и Канской Земле вздернули мою душу восторгом, удивлением и радостью от присутствия где-то, в тысяче верст от меня, родного человека, – но мне тогда ещё трудно было принять послание умом. Душе близки и разуму сокровенны, но от ума отталкивались несхожестью с вавилонами академических трудов о русском национальном древе, превращающемся в сухостоину, годную лишь на истопку, вокруг которого плодятся червие, ложатся на зимовку гадюки, змеи-медянки и всякие гады, засыхает у подножия великана листва, поливаемая дождем-сеногноем, то спадают шелухой прекрасные одежды великой русской истории. Боже мой, поразился я тогда, ведь жив русский тип на земле-матери, исполненный смирения и терпения, и не надо впадать в отчаяние, если в зимовейках и таёжных скрытнях по окрайкам великой Руси трудятся святые подвижники, живущие душою, а не брюхом; а может, и в самом деле сыскался родич, пославший весть о себе, что мы не одиноки в этом оглашенном мире, где национальная судьба не стоит и медной полушки в глазах ростовщика-чужебеса.

Помню, что поместил ученые записки прямо под локоть, на самое видное место на письменном столе, и этим же локтем, наверное, такой неблагодарный негодяй, срыл со стопою деловых бумаг сначала на пол, а после письмо откочевало под диван, там надолго затаилось, как

в пучине океана, и вдруг под порывом ветра-заморозника – «боры» всплыло пред мои очи в тот самый день, когда понадобилось для второго тома исторических записок о поморах-груманланах.

В том послании было двенадцать страниц, а обнаружились четыре. Пока...

«Уважаемый Владимир Владимирович! Часто покупаю газету “Завтра”. В ней иногда встречаются ваши статьи. Для меня они один из источников информации о Русском Севере. Замечательные красочные дополнения общей картины моего представления о людях мне неизвестных, но родственных. По рождению и всей природе своей я терский казак из станицы Ермоловской. Чтобы было понятней, вспомните первое известное произведение Льва Толстого “Казачи”. Моя бабушка, которая умерла ещё в 1924 году, была родом из станицы Червленной, что рядом с описываемой в повести Старогладовской. По дедовой линии все ермоловские. Это уже ближе к горам, на границе с Малой Чечней. Первоначальное название станицы Злобный Окоп. Потом переименовали в честь знаменитого генерала Ермолова.

Я с детства слышал рассказы о том, что корни наши идут от Белого моря и от поморов. Но никогда не мог уловить в чем суть этого? Знал, что наши казаки и обитатели беломорского побережья по всем характеристикам совершенно разные люди. И только с возрастом, накопив знаний, открыл мир, который под спудом не только для меня, но и для огромного количества людей. Оказывается, мы связаны довольно близкими узами.

Никогда не жил на Севере, изучал его по книгам. Только недавно провел две недели на Кольском полуострове. Оказалось, что большинство северян сами не очень-то знают свою историю. Не говоря уже о происхождении собственных родов и причин, отчего глаза или волосы того или иного цвета. Мы часто не знаем настолько элементарных вещей, что становится грустно. В статье вы приводите цитату арабского путешественника X века. С описанием неких русов, которых он встретил в столице Хазарии Итиле, находившемся в низовьях Волги. Этот текст часто встречается в исторической литературе, и его уже как только не обсуждали на все лады. Но тем не менее какая-то часть информации об этих людях, содержащаяся в тексте, упускается из вида. Вроде бы незначительные детали. Вы тоже не заметили. (Я и не знал, и не догадывался. – В.Л.) Ради этих деталей я и перепечатаваю текст письма.

“Русы не носят ни курток, ни кафтанов, но у них мужчины носят кису(кусок ткани, обернутый вокруг тела, наподобие римской тоги, которой он обхватывает один бок, причем одна рука выходит наружу. И при каждом из них имеется топор, меч и нож, причем с оружием этим он никогда не расстается... Нет у них недвижимого имущества, ни деревень, ни пашен. Единственное их занятие – торговля соболями, белками, куницами и прочими мехами”. Далее араб рассказывает, что главным товаром в их торговле были девушки-рабыни.

Араб говорит, что эти русы высокие и стройные, как пальмы, и что он никогда не видел более красивых людей. Фадлан внимательно наблюдал за сложным обрядом погребения знатного руса, труп которого сожгли на костре вместе с рабынями. Руководствуясь этим описанием, историки, нисколько не смущаясь, относят этих людей к русским. И что поражает, огромное число специалистов многие десятилетия не могут внимательно прочитать текст. Ведь ясно написано, что нет у них имущества и деревень. Они не пахут и не сеют, а живут только торговлей наиболее ценными товарами. Ходят вооруженные до зубов и легко одеты, несмотря на суровость климата в их стране. Явно говорится о людях некоего анклава с особенной культурой, который находился на русском Севере и до сих пор не выявлен историками и археологами. Но он был, и это настолько очевидно, что, прочитав только один рассказ Фадлана, отрицать это совершенно невозможно. И, судя по отработанному до мельчайших деталей обряду погребения, в этом анклав был очень высокая культура. Смешивать этих людей с предками киевских русов или новгородцев просто смешно. Ни в одной древнеславянской летописи не встречается описания подобных людей. А небольшие куски информации о них просто проходят мимо внимания специалистов. Правда, иногда кажется, что они это делают намеренно.

К сожалению, в рассказе нет более подробных описаний внешнего вида. Остается лишь добавить то, что известно о них из других источников. Не надо удивляться тому, что эти люди были так легко одеты. Вид одежды, которую они носили зимой и летом, был ими распространен по всему Древнему миру. Киса – это кусок ткани, плащаница. Назван киса по шнуру, которым его подвязывали... Вы сами говорите: На русском Севере – это дорожный мешок для харча, сшитый из нерпичьей шкуры. Горловина мешка завязывалась специально для этого предназначенным шнурком. Точно так же по этому шнуру был назван кисет для махорки и кожаный мешочек для серебряных и медных денег. Кисет дословно означает “шнурком связанный”. В Средние века вор срезал ножом шнурок кошелька, сшитого из кожи мешочком. Кожаные мешочки для металлических денег на шнурах просуществовали до двадцатого века. Выражение “срезать кошелёк” дошло в воровском жаргоне до наших дней.

(Через Мезень зимою шли долгие обозы за навагою в Семжу, Койду, на Канин, оставаясь с ночевкою в Большой Слободе. Деревенские мужики в кожаных мешках брали с собою походный харч, чтобы с этими хлебами жить в дороге долгий месяц, или два, пока попадали угрюмой заснеженной тайболой, бездорожицей, по раскатам и тягунам, не однажды опруживаясь в пути, пока-то добирались до Москвы и Питера, чтобы рогозные кули с навагою и корехами сдать в столицах оптовикам-перекупщикам. Труден, тягостен был этот немилосердный зимний путь, которым много лет хаживал с обозом мой дедушко Семён Житов из Жерди и братан ему Илья Ермаков. А «наяноватые» парни из Окладниковой слободы темной морозной ночью срезали кисы и воровски тащили из саней-розвальней подорожники, чтобы после загнать их на вино. Оттого мезенских баловных гулящих парней-казачат и звали «кисерезами».)

Причина “морозостойкости” этих воинственных красавцев в том, что они действительно были закаленными людьми. И это не результат какой-то специальной методики закаливания, а физиологическое свойство породы этих людей. Они были и остаются одним из немногих природных народов на планете. Именно их пытались выявить немцы во время ВОВ, испытывая пленных с характерной внешностью на способность переносить холод. Немцы знали, что подавляющее большинство народов были выведены вождями этих природных людей точно так же, как были приручены и выведены породы домашних животных. И их не стоит смешивать с русскими или украинцами, или вообще с другими славянами. Хотя они и живут до сих пор среди нас. Во времена Фадлана они обретались в своих кисах на вольном воздухе только с весны до конца осени, но не в лютые морозы. На зиму, заранее сделав запасы, они прятались в своих жилищах до весны. О чем есть редкие свидетельства немца Герберштейна, посетившего в начале шестнадцатого века Россию. Он рассказал о неких лукоморцах, которые в полярную зиму на полгода впадают в спячку. Так что в холода им киса была не нужна.

(Эти сказки, наверное, немцу сочинили самодины, рассказав о малорослом народе сихиртя, найденного в 1928 году археологами около устья Оби, но автор письма этого свидетельства, видимо, не знал и поверил легенде самоедов. Сихиртя в спячку не впадали, и когда замерзало море, трудились всю зиму в «буграх», занимались металлом, ковали изделия для торговли с грустинцами.)

Изредка в древних летописях попадаются короткие свидетельства о неких русах Арсы, живших на неизвестном острове в Окружающем море, как в Средние века называли Ледовитый океан. Оно же называлось морем Мрака по своим долгим полярным ночам. Эти русы никогда никого не пускали на свой остров, убивая любого, кто осмелился нарушить запрет. Их было два племени, которые включали около дюжины родов. Главным Богом русов было зодиакальное созвездие Стрельца, изображавшееся в виде известного Зодиакального знака. Одним из многих синонимов, которым в их родах называли стрелу, было слово “рус”. Что дословно означает «с каменным наконечником». Главным тотемом племени, которым они «столбили» подконтрольные территории, был так называемый поморский крест, обозначающий этот зодиакальный знак. И сейчас эти знаки можно увидеть на Севере и в глухих местах Сибири. Столб

также был известен под названием «Гиперборей» – «Огромная стрела». Вы спросите о ветре Боре, дувшем с Севера в так называемой Гиперборе. Селение их было расположено в узкой долине, идущей под наклоном с севера на юг. Внизу, в долине, закрытой горами с трех сторон, находится озеро. На вершинах окружающих гор даже летом и в наше время лежит снег. Тяжелый холодный ветер сверху постоянно дует вниз в долину, где воздух более прогрет солнцем. Весной, летом и осенью эта ветровая труба работает постоянно. Ветер получил название по горе, возвышающейся на северном гребне этого ущелья. Она настолько похожа на громадный наконечник стрелы, что при её созерцании это сравнение первым приходит в голову.

Вырезанную из твердой породы дерева стрелку вешали ребенку на шейный шнурок в 12 лет после того, как пройдет инициации. Зодиакальный знак Стрельца изображали в виде деревянной скульптуры человека. В одной руке он держал серебряную стрелу. Стрела всегда изображалась белой. Это так называемая «молния Перуна». Перун обязательно должен быть с пышными усами, но без бороды. Его имя так и переводится: «одна стрела». И заметьте, что Стрелец – северный зодиакальный знак. Он был, есть и всегда будет символом Севера и полуночи. Потому и обитатели Севера назывались гиперборейцами. Эти люди приветствовали друг друга издали вытянутой рукой под углом вверх, изображая тотем племени. И вообще слово «рука» в переводе с их языка означает «вместе с наконечником». Не стоит думать, что приветствие это выдумали немецкие фашисты... Оно было известно в Древнем Египте, Этрурии – предшественнице Рима, в самом Древнем Риме и у многих других народов планеты. И распространили его по свету вожди племени русов.

Русы Арсы были круглоголовы, подобно украинскому генотипу. Но голубоглазы и беловолосы. Их инициации назывались «постриг». Двенадцатилетнему мальчишке обривали голову, оставляя клочок волос, хохол, в подражание озерной птице гоголю-чомге. Проколов уши, вдевали тяжелые серьги, добавляя сходства с этой птицей. В знак совершеннолетия повязывали кушак на пояс. Вещий Олег в «Повести временных лет», посадивший на киевский престол младенца Рюрика, именно так и выглядел. Именно так византийский император Цхимисий описал внука Рюрика Святослава. Русы Арсы сжигали своих покойников и эту традицию передали славянам. Потому бессмысленно искать могилу вещего Олега, надеясь прибрать к рукам груды золота. Если и найдется когда, то это будет курган с урной и горсткой пепла.

Два племени не были коренными островитянами. Они появились на острове не позднее 14 тысяч лет до н. э. До этого жили на Восточно-Европейской равнине. Русы предпочитали озера, где рыбачили и охотились на птицу. Это и определило тотемом знак стрелы.

Второе племя в палеолите (2 млн 12 тысяч лет до н. э.) было охотниками на быков. Великое множество этих животных делало сезонные кочевки от Предкавказья, междуречья Волги и Дона до севера Восточно-Европейской равнины. В честь быка бизона у них тотемом был зодиакальный знак Тельца. Дикий бык имел бороду, идущую от нижней челюсти до пышной гривы на загривке. Мужчины этого племени носили подвязанные ремешком длинные волосы и длинные бороды. Они были долихокранны, покойников не сжигали, а хоронили. Поэтому их история известна более подробно. Изображения их вождей с длинными курчавыми бородами, относящиеся ко 2–3 т. л. до н. э. можно увидеть на барельефах и скульптурах древнейших государств Месопотамии. Другие народы называли их славянами. От слова «с-лава», что значит «с быками». Чтобы не было сомнения, можно пояснить. До 20 века в казачьих войсках просуществовал тип атаки, называемый лава. Это когда масса конницы, не организованная в строй, обрушивается на противника. Это древнейший боевой приём, подхваченный казаками у живой природы, когда стада испуганных быков мчат обезумело и остановить их уже невозможно.

Крик, которым выражают восторг к победителю в турнире, сражении «Слава», тоже взят от этих быков. Когда мужские ладейные команды подплывали к селению после удачной охоты, они кричали ожидавшим их семьям: «Слава!» Это означало, что мяса везут много и голодать не придется в долгую зиму.

Племя Тельца своим знаком избрали Т-образный крест. Его деревянное изображение люди племени носили на шейных шнурках, свои территории они узаконивали огромными буквами «Т» из стволов деревьев. Возможно, в Ваших краях старики ещё могут рассказать о подобных пограничных столбах.

Люди этого племени во время инициации делали обрезание крайней плоти 12-летним мальчикам.

Ещё 500–300 лет назад эти два племени были главными хозяевами русского Севера. В «Мазуринском летописце» говорится, что Славен и Рус обладали «...землями по всему Поморью до великой Оби и до устья Беловодской воды, и эта вода бела, как молоко». Беловодская вода – речка на Чукотке. Ими контролировалось всё побережье Окружающего моря.

В древности имя Арсак часто принадлежало царским фамилиям. На Кавказе этих людей в XX веке уважительно называли арсаками. Люди Арсы – древнейший народ планеты, который существует целую вечность в отличие от всех других народов, которые были ими созданы на протяжении последних десяти тысяч лет. До середины 12-го тысячелетия до н. э. этот народ назывался кроманьонцами. Но наука всех убедила, что к этому времени (конец верхнего палеолита) кроманьонцы все вымерли. В книгах царских историков еще встречаются скупые описания неких ариев, или арийцев, живших долгое время на Севере. Но и их при Советской власти переселили в Индию.

Далее я попытаюсь рассказать Вам, отчего Ваших предков называли ратманами? Арии по своим законам должны были покидать племя в 42 года. Если в 12 лет проходили инициации, прибавить 30 лет – получается 42 года. Тридцатка – один цикл Сатурна. Простых родичей отправляли в специальные закрытые воспитательные дома – прообраз современных монастырей. Проходили эти проводы в августе, в Преображение и на Спасы, вместе с отлетом ласточек. «С-пас» значит «с отлетом». Поэтому монастыри до сих пор называются Спасо-Преображенскими. Переименовать их уже тысячу лет православные попы не решаются. Поэтому до сих пор пользуются чужим праздничным календарем, который был до Христа за пять тысяч лет. Думают, что все на свете забыли русскую историю.

Так вот, простых родичей помещали в монастыри, а вождям выделяли земли по выбору. Там они заводили новые семьи, имели не одну жену, а несколько. На местах постепенно вырастали роды от этих апостолов. Нам они известны как староверческие общины, которые при царе Петре жгли себя, не желая подчиняться никонианству. У этих вождей было множество разных названий. Одно из них – ратман. Рать – это круг наконечников в колесе дымового отверстия арийского жилища. Ратманом, видимо, называлось всё дымовое колесо в арийском жилище, с которым этот вождь имел дело. Когда ратман умирал, его место занимал родич. Он женил, лечил, обучал трудовым навыкам, нравственным нормам и родовым обычаям, как верно воспитывать детей. И многому другому, что необходимо арию для строительства семьи. Первый ратман и так называемый «старец градский» суть одно и то же. Это отставной арийский вождь. Потомки его – это уже другие люди, – это мы все нынешние...

Чем занимался арийский родовой вождь у себя дома, я Вам очень коротко расскажу. Может быть, Вам это будет интересно? Возьмите ручку и лист бумаги и рисуйте то, о чём я рассказываю. А потом скажете, придумал я это всё, или это надежные знания?

КОЛО СВАРОГА...

Неолит (новокаменный век) закончился примерно в 5 т.л. до н. э. с появлением меди. И как-то исподволь утвердилось, что всё это время люди были дикарями, и только с появлением металлов начался полный восторг и прогресс. Если изучить каменный век более внимательно и подробно, то вдруг окажется, что мы во многом более невежественны, чем люди палеолита с того таинственного острова в Ледяном океане, знавшие Коло Сварога и пуповину мира...» (конец четвертой страницы. Остальные восемь страниц пока утрачены. Пока...)

...Статья Александра Ушакова большая, много в ней было любопытного, и это ощущение чего-то необычного, видение, образ какой-то фантастической картины, которая близко касается меня, не пропадало, но порою вдруг вспыхивало с чувством невосполнимой потери, и я принимался её искать, шарить по чуланам и комнатам. Подобное, наверное, случается с каждым из нас, все по-разному переживают утрату, которая самым неожиданным образом превратилась в легенду, но не утратив свою ценность, лишь завернув её в новую, не менее драгоценную, обертку.

В письме Ушакова притягивает романтика, необычность минувшего, но досель искусственного мира, от которого мы отшатнулись по чужому принуждению, чтобы напрасно не блазило нам, и эта сказовая волна, мистика, с которой мы разлучились, вдруг припав к «Золотой Кукле» и дав ей клятву верности, посунулись рылом к окаянной горсти ростовщика-процентщика, и тут же забыли мы тысячелетнюю волю, в которой обитал русский скиф.

Вроде бы и вернулся к родному порогу, поклонился божнице (тяблу) в красном углу, но сниматься из дома, начинать новый поход в мир неизведанный, уже нет прежних сил...

Братцы мои, вот из таких-то внезапных мыслей, порою одолевающих тоскливую жизнь, и рождается в нас, русских жильцах, новый «гулящий» человек, жадный до странствий, которому всё трын-трава... Именно здесь, в Помезеньи, в теснотах суровой тайболы и топких чарусов, откуда пузырит стоглавая немочь и лезет неутомимая лешачья пропадина к нам в избу, чтобы окончательно пригнетить долу нашу выю. В этом-то постоянном сопротивлении всякой житейской скверне и духовной невзгодице, наперекор судьбе и рождалась музыкальная истинно русская похвalebная душа, омытая песней...

Я вот толкую сейчас невидимому невере, который плюется и чванится от каждого необычного слова: «Ах ты, сукин сын, свинская твоя душа, зачумленная от вороньего грая, напряги подвздошь, где едва ворошится охаделая твоя душа и, наплевав на всю свою книжность, похожую на хворь-сухотку, от которой быстро сторал в девятнадцатом веке московский интеллигент; оттепись, поверь неожиданной сказке, возрадуйся сердцем, и всё твоё окаянное существо вдруг вскинется очами в небо и обрадеет новым, милым тебе, делом... И тут увидишь, сколько всего родного мы стоптали под ноги, обзарясь на чужое...»

Ведь не в подворотнях Москвы, не в кабаках и театрах лукавых искусителей, не в роскошных церквях и соборах, а на студеном моховинах, на утопистом лукоморье, на костогорах Ледяного Океана, где тысячами лет угрюмо вздыхает море, и устраивалась поэтическая душа русского скифа: былины, старины, сказы и сказки, песни и плачи, гадания и запуски, те предания старины глубокой, которые, вдруг вспыхивая, обжигают до слезы в очах. Боже мой! – внезапно восклицаем мы, уже ничего вроде бы не понимая в угасшей музыке, так глубоко уснула память, и уже ни одна сердечная струна не отзывается вовне, в потерянный рай, в котором обитали предки, и уже не понимаем, отчего плачем, – иль от радости, что нашли утраченное счастье, иль от тоски, что сжимает грудь, отлучившую из себя песни неба. И хочется обернуться, всмотреться во все глаза в уходящее за горизонт, но язва гордыни, и внутренний скепсис превосходства над старостью глушат малейшие всплески миролюбия. Как далеко отодвинулись мы, отгородились каменной душой от песенного мира, от тех тысяч песен, с которыми не разлучались наши предки, а мы посчитали их чужими; куда девалось, братцы мои, желание петь, какими сургучными нашлепками опечатали чужебесы наши оскопленные губы... Братцы мои, никогда не оборачивайтесь в чужое, никто там вас не приветит... Жизнь-обыденка, несуразная, гнетущая, однообразно нудит, как осенний обложник, дождь-ситничек, из той самой небесной палестинки, райской обители, куда с непонятной неизбежностью устремлен наш взгляд; но как бы вступая с ней в бесконечную прю, в которой никогда не будет победителя, сквозь каждую телесную волоть, непонятно откуда подгуживает таинственная музыка и заставляет жить, ворочать возы «каждодённой» работы принудиловки и притужаловки, как бы вступать с нею в новую схватку:

Обложили окаянные татарове
Да своей поганой силищей,
Обложили они славен Китеж-град,
Да во святой час, заутренний...
Ой ли, Господи, Боже наш, Пресвятая Богородица!
Ой, способите вы рабей своих
Достоять им службу утряню,
Дослушать святое писание!
Ой, не дайте татарину
Святу церковь на глумление,
Жен, девиц – на посрамление,
Малых детушек на игрище.
Старых старцев на смерть лютую!
А услышал Господь Саваоф, услышала Богородица
Те людские вздыхания, Христианские жалости.
И сказал Господь Саваоф Свет архангеле Михаиле:
Сотряхни землю под Китежан, погрузи Китеж во озеро;
Ин пускай там люди молятся без отдыху, да без устали
От заутрени до всеошной все святы службы церковные
Во веки и веке веков!

* * *

Поэтический, «богувдохновенный» мир в груди человека может рождаться лишь в природе необычной, притягливой взгляду, окрыляющей душу, позывающей на чудные, удивительные поступки, вызывающей в душе долгий музыкальный протяг. Эта музыка из моего сердца вдруг вспыхивает в груди, протяжная, исполненная сладкой грусти, от которой хочется восплакать: живой, немеркнувший хрустальный ручей-студенец вдруг прорывает все запруды нажитых горечей и отворяет истоки изначальной Руси... Пожалуй, это самый точный метафорический образ; поморская песня – это «хрустальный ручей-студенец, текущий из горы Меру».

Мы не можем никого уведомить нынче и толково объяснить, какова была окружающая природа и чем отлична от нынешней, ставшая для старожильца раем, где человек мог жить столько, сколько хотело его сердце и мечтало сознание; но доподлинно теперь известно, что обитали в Гиперборее необыкновенные животные, которые сопровождали гиперборейца тысячи лет, да и люди по внутренней наполненности были совсем иными, чем мы; может, внешне и неотличимы – руки, ноги, брюхо, голова, – но внутренне, где нынче у многих глухота и пустота, и проливался, ничуть не мелея, тот хрустальный ручей-студенец, омывающий правоверную душу.

Мощей древнего русского скифа так и не сыскали, но «на заморные кости» (бивни) мамонтов уже в семнадцатом веке были открыты доходные поиски: «шерстнатый гигант» не пожелал покоиться в ледяных пещерах Бырранга и сам полез наружу взглянуть на мир, а помор, поначалу из простого любопытства, ухватился за необыкновенную гигантскую кость, вытянул тяжелый бивень наружу, и тут открылся глазам сибиряка огромный погост «земляного оленя». Таился «покойник» тысячи лет, и вдруг объявился, незванный.

«Земляной олень» (мамонт), по преданиям коми-зырян, ненцев, хантов, манси, жил во времена творения мира и был настолько грузен, что проваливался под землю. В пробитых

мамонтом тропах возникали ручьи и реки. Воспоминания о мамонтах сохранились в преданиях и легендах.

Появились мамонты в Европе, Азии, Африке и Северной Америке около двух миллионов лет назад. Было более десяти видов травоядных исполинов с густой шерстью и небольшим горбом на спине, где скапливался небольшой запас бурого жира.

Мамонты начали вымирать двенадцать тысяч лет назад из-за коренных изменений климата. Наступило оледенение, животные потянулись к югу. Пихтовые и кедровые леса погибли, их сменили мелколесье, дикоросль и тундра. Мамонтам, наверное, не хватало еды и воды на питьё. Постепенно великаны измельчали, их потомство выродилось в карликов. Последний свой срок мамонты и саблезубые тигры доживали на островах Врангеля и Святого Павла три тысячи лет до н. э., прежде чем окончательно сгинуть, но остаться в легенде. Разнообразный животный мир в бескормицу и долгую стужу оскудел, вымер, а вместе с ним, недолго продержавшись под небесами, сошли в землю многие неведомые нам народы, унося с собою долгую жизнь Арктиды. И какие-то чужестранцы-сквалыжники до сей поры изощряются в ереси, разносят по миру сплетенки и побасенки, дескать, русские – молодой народ из семнадцатого века, что у них нет своей истории, своей родины. И науськивают на нас пришлые племена с Алтая, дескать, это они истинные хозяева Арктиды, а те, соблазненные новыми сказками атлантистов, лутеров и папёжников, со всех сторон наседають на русских скифов, кто спас их от вымирания и в новых духовных одеждах ввел в современный мир...

История Арктиды – долгий сказочный миф, сокрытый от наших глаз и ждущий, наверное, нового сотворения мира, чтобы повториться через сотни тысяч лет в каком-то ином образе. Именно здесь, в Арктиде, жили русские великаны, сюда наезжал святорусский богатырь Илья Муромец, воспетый в былинах, когда сполз с печи на лавку, отправился к Скифскому океану, соблазнил у Святогора жену, а потом обманом завлек и заклепал хозяина Гипербореи в гробу, и тот испустил дух.

В горах Бырранга на Таймыре есть река Мамонта. Кто и когда дал затерянной в черных мрачных горах речушке такое название, я не знаю... Эти места мало кто посещал. Может, и наведывался сюда мезенский землепроходец по прозвищу Волк, но он даже своей фамилии не оставил на память; дескать, жил такой груманланин Волк и копал на Таймыре серебро...

Мистические черные зубастые горы Бырранга посреди красно-рыжей тундры случайного пришельца ударяют своим трагическим видом в самое сердце и отвергают от себя. Кочевники-нганасаны считали эти каменные стены царством злых духов, за которым и начинается потусторонний мир. Пугаясь стихии, нганасаны обходили стороною горы Бырранга, простирающиеся до Енисея на 1200 верст.

От Лены до Оленька и Анабары, почитай лет двести ходили мезенские промышленники морем, перевозили на кочах грузы, казачьи отряды для сбора ясака, спотыкались о Таймыр, густо обставленный гранитными мелями и перемельями, и, боясь затонуть, угодить в зубы разбойному ветру, тут же поворачивали обратно. «Знатких» мезенских кормщиков, что плавали океаном меж рек, десятка два, едва ли более на всю Восточную Сибирь, кто пользовался добрым славным именем, но и они, бывалые мореходцы, скоро изнашивались от тягот иль погибали в схватках с местными князьями; мало кто выживал из промышленников, гулящих покрутчиков и артельщиков в те давние поры освоения гигантского материка и благополучно возвращался под родную крышу. На смену им отправлялись в сибирские пути их заматеревшие сыновья; грудастые поморские девки на выросте, обзаведясь семьёю, тоже съезжали в Сибирь. А девки на лукоморье росли под стать мужикам, хваткие, бесстрашные, на карбасах не редко пускались в открытое море, заменяя отцов, ушедших с зимовкою на Грумант, или Матку.

Семнадцатый век вырастил героическое, мужественное племя русских скифов из Мезени, Каргополя, Вологды, Выга, Онеги и Печоры; но позднее землями Сибири уже вплотную занялась торговая Москва, близко узнавшая, на каких редких товарах покоится столичная

казна и какой высокий денежный процент можно снять с сибирского промысла, несмотря на большие потраты и разорительные бедствия, наступающие купца; выгоды с лихвою покрывали неизбежные убытки. Примером были Рябушинские, Демидовы, Строгановы, Сибиряковы. Тот же архангельский купец третьей гильдии Сидоров заплатил в царскую казну налогами несколько миллионов золотых рублей... Но «самовольники» староверы-мезенцы и пинежане, когда-то на свои крохотные капиталы собиравшие экспедиции по открытию Сибирских земель, были отлучены от государственных забот (как бы за ненадобностью, а Сибирь приватизировали маклаки, процентщики и трактирщики), «зарезав» последние остатки воли, вычеркнув русских скифов из национальных исторических святцев; (когда совершилось преступление, и кто повелел уже в наши дни присвоить недра, лишить русских национальной биографической печати, этот проступок (преступление) тщательно скрывается. В паспорте – главном документе, в главе «национальность», стоит ныне прочерк, как первое свидетельство небытия русского племени. А преступное вопиющее событие даже нельзя упоминать. Есть самодины, эвенки, якуты, ханты, манси и множество других народов, но русских уже давно нет возле Ледяного океана, да никогда и не было. Случилось то, о чем мстительно писал в тюремке «татарский мурза и заштатный философ», сын поэтессы Анны Ахматовой Лев Гумилёв. Дескать, в Европе в раннее Средневековье существовало крохотное племя русских, но оно окончательно вымерло, оставив по себе лишь своё название...

...С восемнадцатого века Мезенская волость быстро покатила в забвение: тундры, каменистые корги, дикая тайбола, заморозные ветры-борей и береговые утописты няши поглотили замечательное имя удивительного сословия, и в каких-то три десятка лет позабылись их рачения и деяния (нынче население Зимнего Берега лишили промыслов под страхом сурового наказания). Интернациональная столица оказалась неблагодарной к Поморью, где, по свидетельствам ученых-генетиков, жили люди необыкновенные, та отрасль русского племени, коей не сыскать подобия во всей Руси, ни к кому не примерить и не подогнать «по форме и содержанию». Если из двенадцати берегов Белого моря у одиннадцати нашли оттенки родства с близко живущими народами (шведы, финны, лопь, даны, норвеги, поляки, немцы, евреи, самодины), то поморы Зимнего Берега ни с кем не смешивались, словно бы обитали в особом мире, и ученые не могли сыскать в этой породе (генах) никаких примесей: это оказались чисто русские люди особой природной выделки, воспитанные Ледяным океаном, может быть, единственные прямые наследники русских скифов, когда – то пришедших на севера с Русской Равнины. И даже близкое соседство с самодинами никак не повлияло на историческую природную суть жителя Зимнего Берега. Ибо запрещалось заводить с ними семью. И старожильческие люди Поморья, подавшись в казаки в семнадцатом веке под царскую руку, разнесли признаки исторического родства и православной веры по дальним окраинам Сибири от Оби, Амура и Сахалина до Северной Америки, открытой поморами ещё в шестнадцатом веке, а быть может, на столетия ранее того, ещё первым кочевьем скифов. Потомки славных мезенских мореходов и «гулящих» людей разнесли по землям Зауралья и Востока не только мезенский язык, составивший главный свод сибирских говоров (двухтомный «Словарь сибирских говоров» издан в Омске в семидесятые годы прошлого столетия, и множество слов попали в него от Мезенских жителей), но и былины, обычаи, природные воззрения, сказовую культуру, суровую верность древнему правоверию и русскому предку Иисусу Христу. А теперь стараются «чужебесы и кобыльники» истереть на частой тёрке из драгоценного русского предания малейшие упоминания и особенные черты старожильцев Ледяного Океана, навсегда выселяя их из Лукоморья, лишая малейших приличных условий для прожития в наследных исторических землях, на которых русские скифы осели ещё триста лет до новой эры, создавали свою культуру за тысячу лет до самодинских племен, спустившихся по Оби из Саянского нагорья...

Зимний Берег быстро лишается коренного населения; мезенцев, как племенную скотину, вывозят для размножения в западные области страны, о чем так мечтал немецкий

фюрер; жизнь потускнела, утратила былое очарование; скукожились и вовсе пропали органические характерные, бытовые и промышленные признаки поморского сословия; народ мелеет и мельчает, увь, теряет прежние мужественные черты, воспетые былинщиками Мезени, Кулоя, Пинеги и Печеры.

7

У русских много самоназваний, их трудно перечислить, сквозь пространство и время они прошли, не теряя внешнего очарования и духовной глубины. В глубокой древности русских звали пеласгами: люди-птицы, жители вселенной, кочевали от Гипербореи и Арктиды в Грецию к прошлой родине; когда на Севере похолодало и море заторосилось, одевалось льдами, ставило по берегам ропак и стамухи, а оплодившись на северных островах, торопились обратно, преодолевая долгий путь к шафранным водам, чтобы весною снова вернуться к родным болотам, бескрайним водам и гранитным склонам.

Русские скифы – народ двух родин, двух отчин, двух вер и одного природного начала, которому верны уже десятки тысяч лет. Наивные кабинетные «личинки», с умыслом, или без оного, лишь по духовной немоте никак не могут очнуться, принять национальное сознание как единственную необходимость, вместить свои сквалыжные заморочки в истоки природного мира. Так нравится им по-щенячьи елозить брюхом на прибрежных «отмёлах», и уже, отдавая Богу душу, хвалиться своей образованностью, не соображая, что этот сомнительный подарок больше от Дьявола, чем от Христа...

Даже летописец Пимен, наивный православный монах, прошедший всю жизнь в мире придуманной сказки, принесенной в сумерки кельи каликами переходящими, с этой убогой нивы и собирал историю русского народа, лишенный полета, как бы прикованный к дубовой лавке железными цепями. Весь «мир», окружающий монастырские стены, притулился однажды, да так и примерз к его закуржавленному паюсному келейному оконцу, а душа Пимена, догоняя мысленно последнюю лебединую стаю с острова Колгуева, не могла поспешить следом, ибо волею великого князя была обязана исполнить послушание, тросткою начертать на пергаменте очередную весть, доставленную скитальцем с берегов Ледяного Скифского Океана.

Неизвестно, где у русских скифов стоял отчий дом, откуда текли родные молочные реки, тянули спутные тревожные ветры, призывающие в дорогу: русские скифы – странное племя обманчивой сказки, вечного похода в неведомые миры, в небесный ирий, где живут голуби и святые старцы... Пожалуй, только русские и заблудились в сладком мире грёз, сновидений, мечты о воле и земле Любви; дух незамутненной чистоты никогда не покидал их души, в какие бы гибельные объятия ни попадал народ, окруженный обезумевшими врагами, с пеной у рта кричащими голубоглазым белокурым пеласгам-скифам: «Распни его!», указывая на Христа.

Лебедей на арктические острова слеталось множество, белые станицы этих божьих посланцев, заслоняли собою небеса; лебедушек, как и гусынь и журавлих, охотники не трогали, оставляли на расплод. Брали на еству только гуменников в линную пору, когда птица теряла перо, садилась на гнездо, не могла встать на крыло и улететь; загоняли в сети, били тяжелыми черемховыми дубинами, ощипывали, солили в бочки и везли добычу на продажу в Архангельск и обе столицы. Заготавливали впрок сотни тысяч голов. Собирали тысячи пудов гусяного и лебяжьего пера, которое шло на подушки, одеяла и перины господам средней руки, ибо самые важные пользовались только гагачьим пухом с Груманта и Матки, который снимали поморы из птичьих гнезд по студеным скалистым кручам... Эти же бедные помытчики, кто ползал за гагачьим пухом по гибельным гранитным карнизам, набивали домашние подушки и одеяла грубой оленьей шерстью, а постели – соломой... Лебеди издревле были у русских скифов тотемной птицей, божьим гостинцем ещё в те времена, когда богами были бык и небесная корова, а их следы отметились по всей Русской земле. На царских трапезах, где порою созыва-

лись сотни гостей, почестной торжественной едою считался белый лебедь. По славе и народной любви ему уступал только Хлебенный каравай. И если кто из сановных бояр, особенно именитых по роду своему, не смог явиться на званый обед по здоровью своему или близкой родни, то, блюдя древний обычай, царь жаловал («спосылывал») лебедя на дом; серебряное блюдо с жареной птицею несли на руках захворавшему боярину в его палаты как великую заслуженную награду за верные труды, тащили пеши по площади вдоль Кремлевской стены стряпчие и стольники, и этим древним обычаем царь кланялся не только придворному и дворецким, кто сопровождал священную птицу, но и самому Царь-Лебедю, но не как съестному гостинцу, а как посланнику и любимцу самого Бога, великой его Жертве на почестный русский Алтарь. Но лебедей и гусей в Арктике становилось всё больше, ибо лебедух и гусынь не убивали; об этом говорит статистика... Под весну с юга текли на Север огромные станицы Лебедей, заслоняющих собою небо...

Никак не могу отвязаться от Таймыра, сидит полуостров в голове шилом и сверлит одну мысль; отчего именно эта таинственная земля длиною в тысячу триста верст стала таким неодолимым препятствием для мезенского морехода; хочется думать, что, наверное, не однажды мимо Ледяного Носа плавали коломенки, шняки и кочи мезенских отчаянных ребят, ибо все исторические сведения толкают к такому убеждению: быть того не может, чтобы не гуляли в горах Бырранга и по множеству прозрачных рыбных речушек русские кочевники, не ставили зимовьюшки, не разводили полднища, не хоронили спутников, не продирались с последним отчаянием через горные перевалы, не протаскивались рекою через каменные завалы, чтобы пробиться к океану; время так тщательно смыло их следы, что не сохранилось никаких памятков. Правда, Михайло Ломоносов напоминает, как бы между прочим, что поморы издавна плавали от Печоры и Мезени до Чу котки в одно лето...

Скифы (чудь) и лукоморцы не могли обойти стороною горы Бырранга, даже из любопытства; наверное, заглянули в ущелья стремительных порожистых рек и в пещеры гранитных круч, ибо они занимались недрами, литьём и ковкою металлов, добыли миллионы пудов медной руды по берегам Усть-Цильмы, Печоры, Пёзы, на Ямале и Канине и эти раскопы сохранились до нашего века, а на древних приисках Урала продолжали добычу руды купцы Демидовы.

...И вот неожиданная находка на островах Фаддея, и никто так и не разобрался до сих пор, кто были эти люди и куда шли, отчего везли столько богатого имения обратно в Русь, которое бы сгодились при немом обмене с чукчами и самоядьё... В семнадцатом веке много шаталось по Сибири ухарей-находальников с ножиками, разбойников с большой дороги, грабящих прохожего и проезжего. Тысячи гулящих скитались тайными тропами по гольцам и таежным путикам, проникая всё дальше на восток, чтобы нажиться скорым временем, а не рвать пуп бурлачеством и на таёжных путиках, промышляя соболя. Это была дикая, норовистая, никем не управляемая жадная до жизни кочевая орда поморян, сбитая с родного пепелища нуждою, бескормицей, досужими сказками и сплетенками о Сибирских угожьях, где можно скоро разбогатеть.

На десяток царских казаков-служивых приходилась сотня «гулящих» парней, кто и тянул главную тягловую лямку, осваивая новые земли: строили острожки, бурлачили по великим сибирским рекам, волоча насады и барки с хлебом и солью, шили кочи и карбасы на скорую руку, промышляли по суземкам зверя, ловили рыбу. А кто-то жил разбоем, гулял с ножиками и пищалями на росстанях дорог, а иные вспахивали копорюгою первые борозды на свободной жирной земле, оседали хутором на заимк, иль починком возле зимовья, ставили церкву, сбились деревнею в три избы, чтобы жить гуртом; таились в скрытных и по таёжным кельям... Русская Сибирь строилась не одним днем, а веками, почитай триста лет. Сначала, не думая «о завтра», делали распашки, чтобы иметь свой хлеб на прокорм, а обзаведясь детишками, уже невольно брались за житейский ум. Так, исподовольки, мезенские «гулящие» стали старожильцами, кержаками, — оплотом староверия, основали крепкие сибирские роды на полты-

сячи лет, и только по фамилии и можно угадать, что Кокоулины, Распутины, Пуляевы, братья Коткины, отец и сыновья Откупщики, Байбородины, Ермаковы, Мезенцевы, Дежнев, Перфильевы, Курбат Иванов, братья Ружниковы, Анкудиновы, Иньковы, Шараповы, братья Стадухины и многие другие походники вышли с Помезенья, – коренные русские скифы с бунтарской, неуступчивой кровью в жилах, потомки груманланов...

* * *

Нынче любят пугать простаков концом истории, не задумываясь даже, что из себя представляет история, или существует она лишь в нашем воображении как поэтическое художественное полотно, не стершееся с небосвода. А по мне история мира – это стихия до конца не изжитых страстей, духовных преображений, история Богов, их битва за наши души с тех самых времен, когда царевали на небе Бык и Небесная Корова, а дождь-молоко поливало землю родящим семенем (малафьею), и потому так много было на Руси молочных (белых) рек.

Беда ученых в том, что они считают историю неким сводом происшествий, где-то что-то приключилось, запечатлелось в умах или сохранилось в воспоминаниях о бесконечной суете жизни. Да нет же, история, как и наше сознание, ведет кочевой образ, блуждает кругами, порою тысячи лет, чтобы когда-то вернуться к своему исходу, под свою крышу. Вот в этих круговых кочевьях по матери сырой земле и совершается творение, духовное взросление народа: если нация устаёт, теряет смыслы блуждания по миру, то она пропадает совсем, гаснет в ней запал долгой жизни, хотя, вроде бы, есть запас самотворения и ещё не пришло время потухнуть окончательно.

Долгота и длина кочевья – тот самый коренной вопрос, который и должны бы изучать историки, ибо на него опирается жизнь нации, её запросы и исполнение божеских задач. История – это не только чересполосица бесконечных войн и даже не восстания низов за кусок хлеба насущного, и не подвиги верхов, подавляющих волю низов: сколько было убито, посажено на кол и вздернуто на виселицы. Это лишь печальный итог убиения в себе Бога, чем и занималось семейство Романовых в продолжение трехсот лет. А эти псевдоученые отняли у простеца-человека его биографию и, лишив жизненных идеалов, посадили на «духовный кол», отсюда и череда бесконечных возмущений от Бориса Годунова, обманом схитившего власть, до слабовольного Николая Второго, бросившего своих подданных в раскаленную печь революции, когда «ересь жидовствующих» окончательно взяла верх в сознании православной страны.

Живет расхожее мнение, что в Гиперборее 30 тысяч лет назад был рай. Иные, сомневаясь, утверждают, что это сказка. Сказка – это побрехонька, перешедшая в скоморошину, в небывальщину-неслыхальщину, над чем народ потешается, доводит в смехе душу свою. Но я не видал, чтобы над воспоминаниями о былом рае в Арктиде кто-нибудь при мне скалил зубы, ибо над мечтою великий грех смеяться. Вполне возможно, что предания о рае в Арктиде – легенда и миф, а это более чем правда, воскрешенная мечтою о счастье на земле. Ведь был же рай-то, братцы мои, под Полярной звездой, «что всем звездам матери»; был, да и совсем рядом, за окном, не надо было искать его на краю света и почему бы ему не повториться?

Русские скифы пришли к Ледяному океану, когда былой рай уже остыл, погрузился в ледяную пучину, и алмазная гора Меру осыпалась к островам Груманта, и уже ничто вокруг, даже угрюмые осколки минувшей жизни не напоминали прежнюю Мать сыру землю, охранительницу русского племени. Это вполне возможно, ибо хребты Бырранга на Таймыре, каменная стена Урала и горы Матки и Больших Бурунов (Груманта) и острова в Скифском океане появились примерно в одно время, 540 миллионов лет назад... Почему я вдруг заговорил о рае, когда мои размышления о мезенских груманланах, а не вообще о Руси. Да всё потому, что ежели глубоко заняться Зимним Берегом Белого (Молочного) моря, а не копошиться по верхам (как домовая мышь), то много всего любопытного может обнаружиться. Уроженцы Зимнего

Берега – люди воли, и они, как люди воли, конечно же мечтали о воле, ею жили, и скитания по океану, хождения в Сибири – есть победа духа над плотью – этим черным враном и жирной свиньёю, что постоянно глумятся над душою. Мне могут возразить, дескать, вон куда загнул, парнишка, в какие небесные выси увлек своих земляков, уже давно потускневших, порастерявших прежний скифский облик, забывших Иисуса и родовое предание. Беспощадно Укатали Сивку крутые горки...

Так были ли хождения моих земляков на поиски райских земель, в глухие углы, куда сдобным колобком, замешанным на маслице и сметане, и укатилась русская свобода от жестокой, палаческой руки императора Петра. Иль утешились воспоминаниями о старине глубокой, а после и последнюю утеху засунули в печурку, чтобы окончательно забыть. От протестантской руки Петра Первого и заскорузлой его души трудно было спрятаться в лесных чащобах, и когда поморы шли на Восток, чтобы через невзгоды, жертвуя жизнью, поклонить богатую сибирскую землю под Московскую руку, и не только прибрать её калачом и кнутом, но и заселиться, наполнить пашенку русским духом; то Петр, придя к власти, повелел вернуть поморцев из Сибири назад, во свои избы, чтобы укрепить их, накинуть железную узду (крепостное право). Значит, царь не особенно и желал, а может и противился, чтобы Сибирская земля пополнила русскую казну, а на эти украины села бы поганая «англичанка», которую Петр шибко залюбил, посетив однажды Запад, и даже тайно склонялся передать православную церковь под папскую туфлю... Отсюда столь неутоленное желание предать староверов огню, и если при Алексее Михайловиче был сожжен в срубце на Москве-реке лишь епископ Павел Коломенский, то дочь царя Софьей Алексеевной и её братцем Петрушей ввержены в огонь первые тысячи вольного крестьянского люду, сразу почуявшего неоскудным умом своим, куда силою, через казни, загоняет их венчанный на царствие «еретик» и «богоборец» (об этом-то официальная история и умалчивает).

Живуче мнение, что самый деятельный народ – новгородцы, всюду поспели, такой успешный: дескать, и океаном-то они плавали, и Сибирь прошли сквозь, претерпев стужу и нужу. А если всерьёз, вдумчиво глянуть на древний русский посад, исподтишка пригретый процентщиками и торговцами: ведь не случайно же в Новгород въехал еврей Схария, создал секту «ересь жидовствующих», совратил священников, соблазнил красноречием, мягким обхождением и глубиной книжного ума Ивана Третьего. А когда великий московский князь пришел в ум, то повелел заточить коварного искуителя в темничку, но того уже и след простыл. Незаметно пропала птичка залетная, как бы растворилась в воздушных, но плевели среди новгородской знати Схария изнасял обильные, и скоро с помощью великого князя новгородские попы перебрались в Москву в кремлевские храмы и там насадили во Дворе подлой заразы. И затеяли бояре заговор, решив заложиться за ляхов, и всё уже было спроворено, чтобы Великий Новгород ушел под Польшу. Хорошо Иван Третий повёл войско на дерзких жителей, а те уже собрали кованую рать в десять тысяч воев и встали на реке Шелони, приготовились к сражению. Пришел Иван III Васильевич и всю новгородскую дружину положил под меч, и пустил город на разорение на три дня за непокорство, вывез оттуда победитель сотни возов золота, серебра и монастырской святости, чем изрядно поддержал свою казну. Но новгородские торговцы не смирили гордыни, не отбросили неверных замыслов, а стали ждать удобного случая, чтобы снова исполнить задуманное. Решили заманить в плен Ивана IV Васильевича Грозного, сдать в руки польскому королю... И опять «дырка от бублика». Явился великий внук Иван IV Васильевич, полонил торговый город, охваченный чумою, заковал в железа триста зачинщиков и отвез в Москву на дознание. Была устроена показательная казнь, но почти всех государь в последнюю минуту помиловал, вернул им имения и жизнь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.